

Светлана Дорошева

Каждый вдох и выдох равен

МОНЕ ЛИЗЕ

«Увлекательнейшее путешествие в сумасшедший мир современного искусства и одновременно в китайское зазеркалье. Раскрыв книгу, вы ее уже не закроете!» — Татьяна Толстая



Три месяца в Шанхае
с современными художниками

с иллюстрациями автора

Светлана Дорошева

**Каждый вдох и выдох
равен Моне Лизе**

Издательство "Livebook/Гаятри"

2022

УДК 82-31
ББК 84(2)

Дорошева С.

Каждый вдох и выдох равен Моне Лизе / С. Дорошева —
Издательство "Livebook/Гаятри" , 2022

ISBN 978-5-907428-50-8

Автофикшн иллюстратора и мамы троих детей Светланы Дорошевой, проработавший три месяца в арт-резиденции в Шанхае, открывает свободный и подчас шокирующий мир современного искусства и творческих людей. Но чем дольше художница находится в такой яркой и странной художественной среде, тем больше задается вопросом: стоит ли стремиться к славе Настоящего Художника? Ведь обычная жизнь — это тоже постоянный перформанс и вечная удивительная инсталляция. Очень трезвый и иронический взгляд Светланы Дорошевой дополняют атмосферные иллюстрации и венок сонетов «Гипноэротомахия», переносящий читателя в финале книги в пространство созерцательной поэзии. Светлана Дорошева — художник-иллюстратор. Окончила художественную школу и университет по специальности «Иностранная филология и литература». Жила в Запорожье и Киеве, с 2009 года живет в Израиле. Сотрудничает с Голливудом и крупными мировыми издательствами. Автор нескольких книг.

УДК 82-31
ББК 84(2)

ISBN 978-5-907428-50-8

© Дорошева С., 2022
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2022

Содержание

1	6
2	12
3	20
4	28
5	37
6	43
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Светлана Дорошева

Каждый вдох и выдох равен Моне Лизе

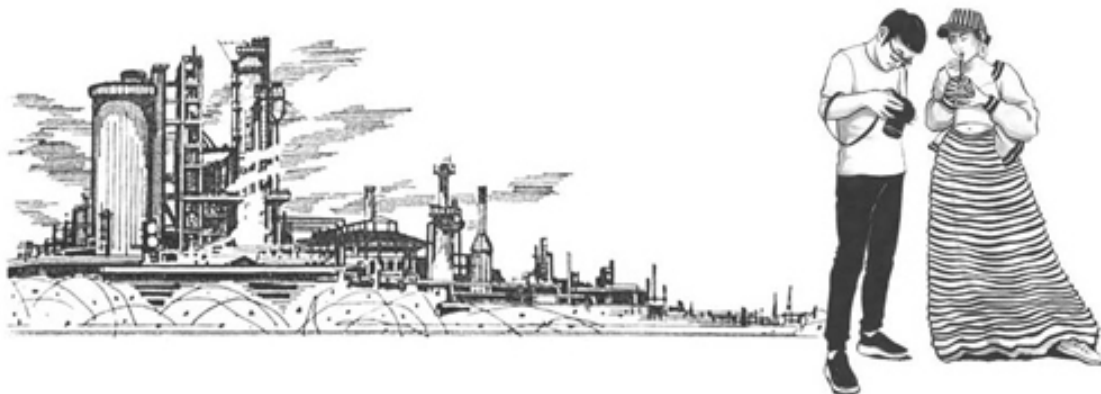
© Svetlana Doroshev, текст, иллюстрации, 2022

© Livebook Publishing, оформление, 2022

* * *

1

Капля росы, падающая с крыла птицы, будит Розали, спящую в тени паутины



С утра в почте было три письма. Первое – от неизвестного адресата, который желал заказать портрет своей девушки ей в подарок. Он хотел бы видеть ее обнаженной, в позе титциановской Венеры, с цветами в волосах. Также в волосы следовало вплести зуб мудрости, кольцо от Тиффани, кухонный нож, число восемьдесят пять, чашку кофе и кабачок. «Эти вещи имеют для нас особое значение» – объяснял заказчик.

Я представила себе две сцены дарения рисунка. В первой девушка какое-то время смотрит на портрет, приложив руки к груди, а потом говорит: «Тут есть кабачок! Милый, ты не забыл...» И кидается на шею к возлюбленному, сметая рисунок на пол от избытка чувств.

Во второй сцене дама скользит взглядом по своему портрету с блуждающей улыбкой, и вдруг взгляд ее стекленеет: «Опять кабачок! Ты не успокоишься, да?! – шипит она. – Никогда больше, слышишь?! Никогда! Даже думать не смей!!!» Рвет рисунок на мелкие кусочки и швыряет ему в лицо.

Разумеется, ни одной из этих сцен не случится, потому что рисовать этот заказ я не буду.

Темой второго письма было «Открывайте шампанское – вас выбрали!» Похоже на спам, но я быстро пробежала сообщение глазами: мы рассмотрели ваше портфолио... готовы предложить вам провести от трех до шести месяцев в художественной резиденции в сердце Шанхая этим летом... пакуйте кисти и чемоданы! Ого, двадцать страниц соглашения и правил пребывания! Наверняка, где-нибудь мелким шрифтом написано, сколько тысяч нужно заплатить за эту прекрасную возможность поучаствовать в эгопроекте, безвестной выставке, книге ста гениев планеты или еще что-нибудь в этом духе...

В последнем письме мой агент Вики напоминала о встрече с Ричи, автором детских стихов. Созвон через полчаса. Настроение мгновенно испортилось. Речь шла о книге. Ричи отобрал шестьдесят своих лучших стихов и желал проиллюстрировать каждое из них. Соглашаясь на это год назад, я уже знала, что книги – наиболее трудоемкая и наименее оплачиваемая работа в иллюстрации, но еще не бежала книг как огня – была свежа и полна очаровательной веры в чудо, дивной слепоты к беспощадной реальности и завидного упорства продираться сквозь нее.

Также я не знала, что свалится кино про художника, для которого нужно будет рисовать больше ста картин, и две другие иллюстрированные книги. Ричи медленно полировал свои стихи в ожидании, пока я сдвину более срочные глыбы. Но теперь, когда этот момент настал,

у меня наступило полное выгорание, и мысль о шестидесяти иллюстрациях просто валила с копыт.

Я сменила верх пижамы на белую рубашку. Пижамные штаны оставила – в скайпе их не видно. Включила камеру и порепетировала в нее: «Я понимаю, как долго вы ждали, но, к сожалению, не могу сейчас взять этот заказ. Я сломала руку... не годится. У меня сложные личные обстоятельства?.. Да господи! Тут шестьдесят иллюстраций, у меня тупо нет на это сил! Нет, ну... Я очень хотела сделать эту работу, у вас такая прекрасная книга! К сожалению, у меня возникли проблемы со здоровьем, и я больше не могу держать вас в ожидании... Да, как-то так».

Пошла покурить, как перед казнью.

* * *

Ровно в назначенный час на экране возникла гладкая лысая голова Ричи и буквально ослепила меня американской улыбкой:

– Как же я рад вас видеть! Я счастлив, что мы наконец начнем работу над моей книгой!

– Я очень сожалею, что вам пришлось так долго ждать... – начала я заготовленную речь.

– Это даже к лучшему, что мы сделаем это именно сейчас, а не полгода назад, как планировали! У меня через пару недель операция, – Ричи провел рукой по лысой голове, – и, честно признаться, я не знаю, каков будет ее исход...

В это трудно поверить...

– Вам, наверное, трудно в это поверить, – предположил Ричи, – но на данный момент мне в жизни важны только две вещи: мой сын и моя книга.

За что мне?..

– Я не знаю, за что мне выпало такое испытание, – Ричи продолжал поглаживать лысую голову, в которой, очевидно, и притаилось испытание, – но я оптимист! Я верю, что мы точно так же будем разговаривать через пару месяцев, обсуждая уже готовые иллюстрации. Я не могу дождаться! Мысль об этом вызывает во мне огромное желание жить. А мечта о том, что я прочту уже изданную книгу стихов своему сыну, вселяет уверенность, что так оно и будет! Вы же беретесь?

– Н-ну конечно... Я очень хочу сделать эту работу. У вас прекрасная книга! И в ней целых шестьдесят восхитительных идей для иллюстраций! – обрадовалась я на камеру, комкая на коленях пижамные штаны, которых не видно в скайпе.

Нажав отбой, я укоризненно уставилась в потолок, будто Микеланджело изобразил там бога, и тот протягивал указующий перст ко мне – мол, приступай.

* * *

Через пару недель, в период мытарств над эскизами к стихам Ричи, пришло еще одно письмо из Шанхая: получила ли я предыдущее? принимаю ли их щедрое предложение? Тон сообщения показался мне несколько обиженным. Я вернулась к письму про шампанское и перечитала его внимательно, со ссылками.

Как же легко проморгать чудо, когда свыкаешься с безотрадной мыслью о том, что сфера твоего труда так жестка и убога, что либо отбирает плоды рук твоих за бесценок, либо же, нажав пару эгокнопок, коварно искушает тебя еще и приплатить за честь быть голодным художником. Именно так люди и превращаются в горьких и обиженных упырей – с ужасом думала я, вспоминая «старожилов», изрыгающих нескончаемую хулу на сетевых иллюстраторских площадках, будто у них вечное несварение жизни. Сначала ошалевший от унижений человек перестает ждать чего-либо хорошего, а потом оно просто перестает с ним происходить.

А это было очень, очень хорошее! Настоящая, крутая художественная резиденция в Шанхае с оплачиваемым перелетом и пятизвездочным отелем в центре города. А за это ты должен... ничего! Ну то есть, по идее, ты должен сделать свой проект и выставку в конце, но если вдруг не получится, что ж. Главное ведь – развитие и творческий поиск, успокаивали организаторы. Задача резиденции – свести вместе художников из разных стран в невообразимом Шанхае и посмотреть, что получится. Чудо какое-то.

Некоторые творцы живут так годами – кочуют из страны в страну, с гранта на грант. Но эта пленительная жизнь – удел свободной богемы, а не людей с тремя детьми, как я, например. В свое время, пытаясь соскочить с изматывающего конвейера заказов, я потратила несколько напоенных мечтами дней, чтобы подать заявки в художественные резиденции Италии и Штатов. В Шанхай я тоже подавалась, хотя теперь вспомнила об этом с трудом.

Случилось это походя, шутки ради: я вычитала в описании, что в отборочном комитете председательствует Джордж Клуни, который играет идиота-параноика в моем любимом фильме «После прочтения сжечь». Это мгновенно убедило меня в том, что дело стоящее, а главное – достаточно дикое и безумное, чтобы когда-либо случиться со мной.

Есть одна важная оговорка про управление вселенной силой мысли, о которой гуру не пишут даже петитом. Называется «эффект найденных трусов». Бывает, утром одеваешься и думаешь мимоходом – куда запропастились те новые трусы? Надеваешь, какие попало, а вечером вдруг раз – мама ни с того, ни с сего заносит тебе упаковку новых труселей – по скидке в супере раздавали в нагрузку к макаронам. А ближе к ночи убираешься на кухне, и вдруг среди пакетов случайно обнаруживаются и те, пропавшие трусы тоже. И сидишь вся такая прекрасная – трусов у тебя навалом.

Вот только с действительно важными вещами так не происходит. Нельзя между делом подумать: «Куда запропастился этот чертов миллион?» (или, скажем, талант), а вечером р-раз – и все нашлось, еще и сверху накидали. Нет, с важными вещами эффект наблюдателя вселенной не так прост. Страдаешь, ломишься в закрытые двери, просишь, требуешь, тихо истеришь, но не-е-ет. Вот трусы – это пожалуйста.

Из Италии и Штатов я получила пару вежливых отказов. Кураторы художественных резиденций были заинтересованы в новой поросли современного искусства, а к иллюстрации относились снисходительно, как к прикладному ремеслу. Зато в Шанхае трусы, конечно же, нашлись. Это же была шутка? Чудо произошло с легкостью. Конечно, улететь на полгода в моей ситуации было нереально. Да даже на три месяца... Не с тремя детьми дома. Ну а с другой стороны, такими шансами не разбрасываются – *особенно* в моей ситуации.

Я всегда мечтала быть Настоящим Художником, но жизнь сложилась вокруг да около, а не в саму мечту. Образование у меня языковое. Позже я три раза поступала в худакадемию, но всякий раз вместо учебы рожала по незапланированному ребенку. Такое впечатление, что там, в небесной канцелярии, вели спецнаблюдение: «О, смотрите – у нее появилось время и силы на учебу! Скорей запихнем в нее ребенка, а то столько энергии пропадает зря!» В четвертый раз мы с мужем решили не рисковать – больше я поступать не пыталась.

В общем, к своей хрустальной мечте «Стать Настоящим Художником» я крадусь по жизни о-о-очень давно. Добралась аж до иллюстратора. Однако последние годы пижамного затворничества меня не покидает чувство, будто я что-то делаю не так. Мне все кажется, что где-то там, куда мне путь заказан, есть некий Олимп свободного искусства, где художники заняты удивительными вещами и актами немыслимой красоты – и все их за это любят, выставляют и одаривают благами земными.

А резиденция – это возможность посмотреть на Настоящих Художников вблизи, разобаться, чем они заняты, а главное – как попасть на Олимп? Кем нужно быть, чтобы делать, что хочется, а не корпеть над заказами, которые едва покрывают счета? Разве я прощу себе,

что упустила шанс узнать – а как живут свободные художники? Неужели тоже горбатые и в пижамах?

Я выпрямилась и с усилием опустила правое плечо, вечно поднятое от напряжения над рисунками. Перечитала письмо еще раз. Соблазн, конечно... Так близко к мечте жизнь еще не танцевала. Она просто прямым текстом предлагала мне выползти из-за стола, сбросить пижаму и вылететь из ее кокона в дивный мир свободного искусства! Я должна...

Да, но почему мечты сбываются так страшно? Где я, и где Шанхай? Как можно уехать на край света, бросив детей на мужа в самый адский период года – летние каникулы? Работа книжным иллюстратором на фрилансе и так довольно скверно сочетается с интересами семьи, но все привыкли... Пора! Пора выставить родным новые горизонты, чтоб не расслаблялись: любовь моя, я прошла отбор в художественную резиденцию в Шанхае и уезжаю на все лето. Вот тебе трое детей, две работы и кредит в банке, который мы возьмем на мои творческие искания в Поднебесной. Кружки у детей по пнд и чтв, котлеты в холодильнике.

Я чувствовала себя ужасным человеком, потому что муж на это сказал: «Хорошо». Он все знал про хрустальную мечту.

* * *

Спустя пару месяцев, проведенных в пижаме над книжкой Ричи, благополучно пережившего операцию и даже отрастившего на голове симпатичный ежик, я переоделась в джинсы и рубашку и восполняла недосып последних дней в аэропорту Бен Гурион в ожидании своего рейса. Я все еще переживала чудо завершения шестидесяти иллюстраций, и новое чудо – поездка в Шанхай – не помещалось в сознании, хотя происходило прямо сейчас.

Я очнулась оттого, что кто-то выкрикивал мое имя и фамилию. Мне активно махал какой-то неопрятный мордоворот. Я подняла руку в неопределенном жесте неузнавания.

– Не узнала? А я тебя сразу узнал! Я – Блинчик! В одном классе учились, помнишь?

– Блинчик... Ну конечно. Помню. Привет.

Люди из археологических слоев жизни – почти всегда шок. Упитанный мальчик с длинными ресницами и ямочками на щеках, прозванный Блинчиком за круглую физиономию, не имел ничего общего с этим потрепанным и небритым хмырем.

Ребенком Блинчик был неистово любим в семье. Мать прочила его в президенты или, по меньшей мере, в нобелевские лауреаты. На основании этой уверенности она костыми ложилась, чтобы не дать «испортить мальчику аттестат» и устраивала бесконечные тяжбы по поводу каждой заваленной им контрольной, за что Блинчику перепалили тонны презрения от сверстников.

А в одну из зим, классе в шестом, случился снегопад. К концу учебного дня снега выпало столько, что в городе остановилось движение. Мобильных телефонов тогда не было, да и звонить было бесполезно – родители были точно так же замурованы по своим работам – и мы побрели домой пешком, небольшими группами. В моем направлении топали три человека – я, Майя Райцес и Блинчик.

От нашей английской спецшколы и в хорошую погоду топать было часа два, а тут – снегу по грудь. Следовало решить, кто пойдет первым и будет телом прокладывать тропу. Меня сразу отменили – я была на голову ниже всех в классе, и снег доставал мне до макушки. Майя с Блинчиком какое-то время смотрели друг на друга, и по итогам незримых переговоров Майя вздохнула и пошла вперед. Я следовала по борозде за ней, а Блинчик плелся где-то сзади, неистово ропща, сильно отставая и регулярно пропадая за пеленой падающего снега. На третий раз обмороживающего ожидания, мы с Майей выговорили Блинчику, чтоб завязывал со страданием, а то эдак мы все замерзнем на полпути.

Не помогло. Когда очередные стенания отдалились и стихли, мы замедлились, помялись еще какое-то время... и повернули назад. Мы нашли Блинчика в снегу, уже изрядно припо-

рошенного. Он обреченно лежал на спине, и его прикрытые веки предательски подрагивали всякий раз, как на ресницы падали хлопья снега.

– Блинчик! – Майя буцнула его куда-то в дефицитную дубленку.

Раздался слабый стон. Блинчик приоткрыл глаза, изображая пионера-героя, умирающего за родину, так ни в чем и не признавшись фашистам под пытками.

– Девчонки... – слабым голосом заговорил Блинчик, – я больше не могу... Бросьте меня здесь. Мой портфель – там... Я скинул его, когда думал, что смогу дойти. Идите... сам-ми... Я останусь... с-здесь...

Мы с Майей переглянулись, и я пошла искать его портфель в пургу, а она взвалила Блинчика на себя, как раненного. Мы перебрасывали его с плеча на плечо еще два часа, пока не доперли до ближайшей расчищенной развязки, где бросили прямо на асфальте. Я кинула сверху портфель, а Майя придавила обещанием такого ада глумления «когда все узнают», что мама его рядом не стояла со своими примитивными провокациями.

– Привет, отличница-а-а-а! – повзрослевший на тридцать лет Блинчик взмахнул руками, сжимая в одной из них открытую бутылку «Чивас Ригал» из дьюти-фри. – Слыхал, ты теперь в Израиле живешь.

– Да. А ты что, тоже тут?

– Не, я все там же, в славном городе Запорожье. Тут по делам. Бизнес у меня. Торговля.

– М-м.

– Закупаю тут оптом всякие израильские приبلуды для кухни – тряпки там, бытовая химия всякая. У нас хорошо идет. Три магазина уже открыл... Ну а ты что? Был тут у Майки Райцес, в соседнем с тобой городе живет, знала? – я кивнула. – Она говорит, ты картинки рисуешь?

– Да.

– На картинках, поди, не заработаешь... Вот я и говорю Майке: ну и где они сейчас – отличники наши, а? По границам расползлись, квартиры съемные, от зарплаты до зарплаты... Чего добились? Хоть кто-нибудь? У Жеки вон похоронное бюро на Брайтоне, так и то жалуется, что жизнь не балует...

– Смертью.

– Что?

– Смертью не балует. У него ж похоронное бюро, ты сказал.

– А, да. Ну и я говорю – где наши отличники? У меня вот, три магазина, жену одел-обул в шубы, бриллиантов у нее – целая шкатулка. Детям квартиры купил, и-э-э-эп-ф-ф, – из Блинчика вырвались пары виски, – а эти что? Что?! Вот ты, например? Как оно там, с картинками?

– Ну, не брильянты, конечно, нет.

– Квартира съемная? – посочувствовал Блинчик.

– Ну да.

– Дети есть?

– Трое.

– И все по миру пойдут, да? – кивнул Блинчик понимающе. – Я ж говорю, пф-ф-ф... отличники. Кому это надо? А-ы-ы-ыф-ф... – в Блинчике снова заговорил «Чивас Ригал», на пару с детской обидой за все те школьные тонны презрения. – А гонору-то было, гонору... Куда летишь?

– В Шанхай.

– И че там?

– Картинки рисовать, как всегда.

– Бездельничать, кароч, да? – Блинчик отхлебнул виски из горла и добавил, то ли про безделье, то ли про виски, – Эт хорошо-о-о-о-а-а. А я щас думаю четвертый магазин открыть... Эх, мать! Мама, мама... Помнишь маму? Умерла. Десять лет как. Инфаркт – все переживала,

хотела, чтоб я тоже отличник... И на юридический потом, и диссер чтоб. Да на кой он сдался? Вот скажи мне?! У тебя ж есть диссер, поди – и что? Подтираться им, что ли?

– У меня нет диссера, Блинчик.

– Эт ты молодец! Хоть что-то в жизни сделала пра-ально.

– И не говори... Ладно, я пойду, у меня посадка. – Я махнула рукой во все стороны, на всякий случай, чтобы был выбор направлений, куда удрать. – Рада была тебя повидать.

– Ага, бывай. Привет узкоглазым! ыщц-э-э-эфф-фуо-о-ай, йопт...

* * *

Мы разошлись под его утробный саундтрек, исполненные каждый своего тайного превосходства. «Картинки, пф-ф-ф...» против «шуба-брильянты-чивас-рыгал-из-горла, нашел как потратить жизнь».

И тем не менее, настроение испортилось. Блинчик зрил в корень. «Дети по миру пойдут», «на картинках не заработаешь», вот это все... Нет, определенно, решение оставить семью на три месяца и поехать за мечтой в Шанхай было страшным, но верным: надо двигаться, чтобы не окоченеть в этом сугробе.

В самолете я спала, и мне снилось, что мы с Майей бросили Блинчика в том снегопаде и он умер, как пионер-герой, с нарастающим снегом в ямочках на щеках. Во сне я горько плакала, но не из-за того, что Блинчик не вырос в упыря с жирной пористой кожей и маленькими пьяными глазками, а потому что вырос – и ничто в прошедших десятилетиях не могло оправдать этой метаморфозы.

2

Большой всплеск



Таксист высадил меня на набережной, с которой открывался футуристический вид – визитная карточка Шанхая. Противоположный берег реки выглядел так, будто кто-то случайно рассыпал споры небоскребов, и из грибницы выросли все когда-либо выдуманные научными фантастами архитектурные капризы. Таксист махнул в сторону – мол, гостиница там. «Там» в глубину квартала утекала «река» людей – сплошная человеческая пробка.

Я вклинилась в нее с чемоданом, рюкзаком и тубусом для рисунков. Со стороны казалось, что «река» движется медленно и бессобытийно, как время в детском саду до прихода родителей. Но изнутри толпа ошеломляла. В ушах звенело от уличной какофонии. Двухэтажные туристические автобусы, обгоняемые шумным роем мопедов и велотачек, беспрерывно сигнализировали, как раненные звери. Из каждого входа разрывались громкоговорители. У фудкорта специально обученный человек крутил трещотку, останавливаясь лишь для того, чтобы поорать в мегафон. Запахи не поддавались ни описанию, ни опознанию и в буквальном смысле сшибали с ног.

В сутолоке люди умудрялись прямо на ходу есть палочками из картонок, курить и разговаривать, перекрикивая запредельный уровень шума. Девушка, идущая впереди меня, пила синее дымящееся зелье и ухитрялась во всем этом калейдоскопе делать селфи на фоне витрин, выдыхая клубы синего дыма. Мать при помощи поводка выуживала из толпы ребенка, отбежавшего к стойке зловеще-черного мороженого. Туристы прижимали сумки и рюкзаки к животам, опасаясь воров. Я же опасалась барышень, вооруженных зонтиками от солнца, и постоянно уворачивалась от спиц, спасая глаза и волосы. В основном я видела ноги. Много ног.

Путь до гостиницы занял минут двадцать, хотя вход был в конце того самого здания, у которого меня высадил таксист. Протащив чемодан через вертушку, я будто провалилась в другое измерение: пусто, прохладно, просторно, а в центре фойе – огромная, невиданной красоты икебана на зеркальной тумбе. После уличной массовой атаки на все органы чувств тишина казалась звонкой, как хлопок одной ладони.

* * *

Едва пережив это потрясение, я встретила огромную розовую мышь. «Все здесь зовут меня Минни Маус» – пропищала она противоестественно тонким голоском, которым обычно озвучивают мышей в мультиках. У нее были длинные розовые волосы, розовые очки на носу, а одета она была в розовый комбинезон. Минни Маус сидела у зеркальной тумбы на розовой

подушке в форме свиньи с плюшевым рогом во лбу и делала селфи с отражениями на розовый телефон. А когда встала, то оказалась на две головы выше меня.

Минни Маус была старожилом резиденции, ей поручили меня встретить, провести по этажу художников и показать, как тут все устроено. Сама она занималась «розовым висцеральным искусством». Я не стала уточнять, что это – все еще привыкала к ее голосу и пялилась ей в рот, из которого чудом лилась эта нечеловеческая речь. Рот, кстати, у нее был сложный: он будто разворачивался из ямочек в уголках губ, как упругий бутон, и оставался приоткрытым, даже когда она молчала. Все в ней производило дремотное, расслабленное впечатление – глаза, полуприкрытые большими веками, апатичное выражение лица и ленивый, как на картинах прерафаэлитов, поворот шеи... Было непонятно, как в этом сонном царстве поселился голос, из которого можно делать будильники.

– В том конце – стиралки, за библиотекой! – оглашала Минни Маус инопланетными звуками безлюдный этаж художников, который выглядел так, будто по нему проползла громадная змея, и по ее следу проложили коридор.

На стенах висели образцы современного искусства, дарованные резиденции предыдущими гостями. В фильмах такие картины обычно показывают в статусных офисах – типа «искусство вообще», висит и никого не трогает, символизирует культуру и престиж.

– Здесь – комната для встреч и обсуждений. Тут лестница на крышу! На крыше бар! А это общая кухня! – голос Минни Маус звенел в змеином коридоре так, что я покрылась мурашками, будто от ударов камертона.

– Вот кофеварка! Воду набирать здесь. Печка работает, можно готовить! У каждого – свой маленький холодильник. Вот твой, видишь? С номером твоей студии? Большой холодильник – общий! Туда складывают все, что не съели, или чем хотят угостить остальных. Можешь взять, ты же завтрак пропустила!

Из холодильника на меня укоризненно уставились шесть куриных голов на круглой деревянной доске. Рядом лежал сельдерей и корзинка с неизвестными мне волосатыми фруктами. У Минни Маус зазвонил телефон. Пока мы ходили по змеиному коридору, она дважды сбрасывала звонки, и к моменту кухни я была уверена, что она не отвечает, чтобы не выдать своего настоящего голоса, а меня зачем-то разыгрывает игрушечным.

– Ответь, – сказала я, закрывая холодильник с куриными головами.

– Да? Извини, это не очень вежливо по отношению к тебе. Но это мой куратор, по поводу сегодняшнего мероприятия!

Минни Маус достала из недр свиноединого, оказавшегося сумочкой, розовое приглашение, сунула мне и запищала в телефон на китайском. Она была похожа на экзотический музыкальный инструмент – эолову арфу или сталактитовый орган – только в виде большой, сонной и розовой женщины.

* * *

Я отошла к окнам, чтобы прекратить пялиться на Минни Маус. Оттуда открывался роскошный вид на набережную с небоскребами. Пестрая расцветка, бегущие неоновые иероглифы и телевышка, похожая на конфету на палочке, придавали этому китайскому Готэм-сити праздничный вид луна-парка.

Возле окна стоял стол с высокими стопками одноразовой пластиковой посуды. Рядом, на круглом картонном подносе, валялись резиновые змеи. Одной из них кто-то записал в рот шарик для пинг-понга, и у змеи был обескураженный вид существа, которое умерло не столько от страдания, сколько от удивления.

Я попыталась отцепить стаканчик из стопки, чтобы набрать воды. Он не отклеивался.

– Не трогай! – пискнула Минни Маус, прикрыв телефон ладонью.

Я вздрогнула от неожиданности. Вышка из стаканчиков рухнула, завалив по дороге еще пару таких же стопок, неустойчиво балансировавших на каких-то коробках и тарелках. Самая высокая стаканчиковая башня упала на несчастную змею. Она подпрыгнула и упала на пол, выронив мячик.

Минни Маус схватилась за голову и ткнула пальцем в доску, которая висела над столом. Там были какие-то эскизы с пояснениями. Я вчиталась. Над большим эскизом было написано «Инсталляция Пудун в стиле трэш-арт». Вокруг были расклеены записки про высотки из законного пейзажа. Рядом с карточкой «конфетной» телевышки было написано:

«Если архитектура – музыка, застывшая в камне, то телебашня Восточная Жемчужина – это застывшие переливы лютни. Она спроектирована по стихотворению Бай Цзюйи, где звуки лютни описаны так:

Большие и малые жемчужины падают на яшмовое блюдо.

Шары, которыми унизана башня, символизируют жемчуг, а парк вокруг – зеленую яшму. Два моста через реку Хуанпу по бокам от башни представляют собой драконов, играющих с жемчужиной – древний императорский мотив в китайском искусстве».

Плохо. Я разрушила инсталляцию! Собрав с пола склеенные стаканчики, я попыталась вернуть макету прежний вид. Минни Маус закончила говорить по телефону и смотрела, как я мучаю змею, пытаюсь запихнуть «жемчужину» обратно в пасть «дракона». По ее лицу невозможно было определить, насколько сильно она меня осуждает, но пока я возилась, Минни Маус с готовностью отвечала на расспросы.

Разрушенное мною искусство было незаконченным плодом рук Леона и Хесуса, пары художников из Нидерландов, которые «занимаются трэш-артом и экоискусством». Ну хорошо хоть не ее работа... «Ничего не выбрасывай! Мы весь мусор отдаем им». Леон и Хесус также шили гобелены из супермаркетовских пакетов: «Тоже не выбрасывай, мы все пакеты отдаем им! Они делают из них огромные панно и вышивают на них экovyсказывания!»

– Ясно.

* * *

Минни Маус нужно было идти готовиться к мероприятию, но, если мне нужно что-то еще... Да нет, ничего, увидимся вечером. И как здорово, что у нее галерейное мероприятие! Это у всех художников в конце резиденции происходит?

– Нет, что ты! Только если тобой заинтересуется какая-то галерея!

– Да? И как ты этого добилась? – Мне правда было интересно.

– Как обычно. Ходишь на все открытия и светишь лицом, пока кто-нибудь из галеристов или кураторов тебя не заметит! Сначала они привыкают к тебе, запоминают, думают «о, это кто-то из своих, знакомое лицо!» Вы сталкиваетесь на разных мероприятиях, пока не примелькаетесь и не познакомитесь. И тогда, как бы случайно выясняется, что ты, кстати, художник!

– Надо же... какой сложный придворный ритуал. Я думала, просто выбираешь близкую по духу галерею, назначаешь встречу...

– Извини, но это не очень вежливо! Ты не можешь сама приблизиться к галерее! Только она – к тебе!

– Угу... Ну, а когда в праздной беседе за бокалом вина вдруг выясняется, что ты художник, что тогда? Предлагаешь посмотреть работы?

– Нет! Галереям нельзя предлагать ничего и никогда! Ты ждешь, что они заинтересуются. Но сразу этого может и не произойти. Они должны постепенно увлечься тобой. Настолько, что захотят посмотреть студию! И тогда-а, если им понравится, они сделают предложение!

Хотя лицо Минни Маус оставалось непроницаемым, про брачный ритуал с галереями она говорила торопливо и с прилежным отчаянием ребенка, которого заставили выучить стих и

рассказать его на сцене. Очевидно, эта тема волновала ее гораздо больше трэш-арта. Меня тоже разбирало любопытство. Я ведь никогда до этого не бывала в среде Свободных Художников и очень хотела выяснить, как устроен этот мир. «Открытия», «выставки», «куратор» – все эти слова звучали сладко и таинственно, как конфеты в еще не открытой коробке. Однако, описанный ею путь казался мне сомнительным и ненадежным.

– А что, если художник, по старинке, сам приходит в галерею с работами? – с надеждой спросила я.

– Происходит насилие! Извини, но это не очень вежливо по отношению к галерее! Художник не должен отнимать у галереи самое большое удовольствие и приз! Галерея хочет открывать новые имена сама! Нужно ждать, пока тебя откроют. В этом весь смысл!

Ждать, пока тебя откроют... Все наоборот! Коробка с конфетами – это я. Мой первый контакт со Свободным Художником проходил скверно: я уронила искусство и спалилась на незнании элементарного этикета в общении с галереями. Но увы, это меня не остановило:

– Ну хорошо. А дальше что? После того, как тебя «откроют»?

– Выставка!

– Прекрасно. И это деньги?

– Нет, что ты! Количество художников, зарабатывающих на выставках, ничтожно.

– Тогда зачем выставка?

– Чтобы о тебе узнало как можно больше людей!

– Зачем?

– Чтобы были еще выставки, более престижные! О тебе узнает еще больше людей!

– И тогда наконец деньги?

– Возможно. Но в целом, лучше на это не рассчитывать!

– А на что же тогда рассчитывать? Как-то же нужно жить?

Минни Маус вдруг закрыла ладонями лицо и запрокинула голову, будто у нее пошла носом кровь. Я не понимала, что происходит, пока она не разразилась пронзительно высокими переливами, как будильник. Она смеялась.

– Их-хи-хах-и! Ну не за счет искусства же! Чтобы заниматься искусством, нужно быть свободным человеком!

Минни Маус так и ушла, развеселившись, а я осталась стоять с открытым ртом, будто кто-то вложил туда невидимый теннисный мячик, как той удивленной змее.

* * *

Моя студия была простой просторной комнатой с кирпичными стенами и свисающими с потолка лампочками, как после ремонта. Посередине – стол, у стен – шкафы, полки для материалов, раковина и пара стульев. Часть комнаты у окна была огорожена для спальни – кровать, тумбочка и шкаф, как в обычной гостинице. Окно выходило на фасад великолепного отеля в стиле ар-деко. Строгую геометрию оконных рядов нарушал полуголый курильщик, высунувшийся по пояс, чтобы дым не проникал в комнату. Поток людей внизу оставался таким же плотным.

Минни Маус сказала, что здесь всегда так («Это улица Нанкин! Одна из главных артерий города!»). Думаю, если бы улицы и вправду были артериями, то здесь у Шанхая случилась бы закупорка и инфаркт. Выше по улице начинался пешеходный квартал с кучей магазинов и ресторанов.

До вечера оставался аж целый день. Следовало выбраться за едой и местными деньгами. В пылу разговора о высоком я забыла спросить у Минни Маус, где все это можно сделать, и спустилась к гостиничной стойке.

– Я могу вам помочь, мадам? – спросил статный метрдотель в костюме.

– Да, спасибо. Где здесь можно купить еду, скажите, пожалуйста?

– А что из еды вы хотите купить, мадам?

– Ну хлеб, сыр, йогурты, печенье... такое... обычное?

У метрдотеля сделалось pokerное лицо, и он быстро отвел взгляд.

– Выше по улице есть супермаркет, мадам. В шоппинг-молле, на нижнем этаже. Возьмите эту брошюру, мадам. – Он двумя руками протянул мне тонкую книжицу размером с кредитку. – Здесь указаны банки, мобильные операторы, метро, спортзалы, рестораны, магазины арт-материалов и супермаркеты. Сзади – адрес отеля на китайском, мадам, и просьба вернуть вас в гостиницу для таксиста, мадам.

– М-м-м... зачем?

– Возьмите, мадам, в городе никто не говорит по-английски. Если вам понадобится вернуться до того, как вы обзаведетесь карточкой метро, просто покажите таксисту эту надпись, мадам.

– Таксисты не говорят по-английски?

– Крайне редко, мадам. – Pokerфейс намертво прирос к метрдотелю, будто я наступила на сложную мину, и он вынужден был скрывать свой ужас за смертельной вежливостью. Я поблагодарила его и от растерянности слегка поклонилась, прижав книжицу к сердцу. Что здесь происходит?

* * *

В первые же десять минут за пределами гостиницы я чуть не умерла.

Кое-как пройдя со всем китайским народом до ближайшего перекрестка, я свернула, памятуя слова Минни Маус о том, что на других улицах с перенаселением полегче. Действительно, на соседнем перекрестке ничего подобного не происходило. Когда светофор зажегся зеленым, я двинулась было вперед и чуть не упала: острая клюка вцепилась мне в плечо и резко дернула назад. Тут же в сантиметрах от меня пронесся мотороллер, а за ним – целый рой мопедов и велотачек.

Сзади смеялись. Я обернулась. Старик в пижаме снял с меня клюку и, задрав ее над моей головой, заговорил на китайском. Выглядел он в точности как мастер кунг-фу из голливудского кино: длинная седая борода, волосы, собранные в пучок на затылке, и взыскательный взор сенсея из-под густых белых бровей. Зрители вокруг кивали и посмеивались, как в театре.

Я поняла, почему они смеялись, простояв у светофора с четверть часа и наблюдая смертоносные тачки. Свежий иностранец на шанхайском перекрестке похож на зверя, выпущенного из зоопарка в дикую природу. Его доверчивость граничит с самоубийством: он думает, что если на светофоре зеленый, то можно идти! Избалованный человек.

Шаг влево, шаг вправо от основных «артерий» – и здешние дороги наполнялись не машинами, а тачками, велосипедами и мопедами, которым никакой светофор не писан. Трехколесная велотачка была образом жизни. Здесь на нее цепляли все – корзины, картонки, бутылки, баулы, детей, гирлянды, дома, города и вселенные...

Повинуясь неведомым законам, струйки пешеходов обтекали меня, не обращая внимания на светофор, под стать тачкам. Они просто знали, когда можно. А я продолжала стоять и озирааться. В какой-то момент взгляд зацепился за знакомую фигуру в пижаме. Мастер кунг-фу копался клюкой в мусоре, выуживая из него пластиковые бутылки. Я еще не успела снять местные деньги, но подошла и протянула ему сдачу, которую дал мне таксист. Старик оторвался от мусора, свирепо посмотрел на деньги и резко замахнулся клюкой, выкрикивая проклятия на китайском. Я побежала так быстро, что сама не заметила, как перешла дорогу назло велотачкам.

* * *

Я забыла, зачем вышла.

Меня накрыло острое сновидческое чувство «все только что слепили за углом» – когда не знаешь, чего ждать и что увидишь в следующий момент. Огибаешь угол – а там срочно достраивается мир! Соорудили реку, свадьбу на мосту, небоскреб или, например, узкий дворик и женщину, снимающую белье с веревки бамбуковой палкой. В спешке сновидческие архитекторы все лепят как попало: на одном фасаде соседствуют старый деревянный балкон с резными фениксами, мозаика с серпом и молотом, амулет от злых духов, будда, мухоловки и ковер с изображением котят, играющих с бабочкой среди роз.

Кажется, этот город – и есть та самая «случайная встреча зонтика и швейной машинки на операционном столе». У меня же – «запланированная встреча банкомата и супермаркета». Я направилась к первому попавшемуся полицейскому. Полиция же должна говорить на английском? Но полицейский не только не говорил, но и смерил меня таким мрачным взглядом, что будь у него клюка, не знаю, что и было бы...

Скоро я поняла, что в Шанхае все исчисляется улицами: улица лаков для ногтей, улица париков, улица фаст-фудов с осьминогами... и целая улица арт-материалов! Я привезла любимые кисти и краски, но громоздкую акварельную бумагу тащить не стала. Акварельной бумаги я не нашла ни в одной из лавок, зато рисовой было на любой вкус и цвет – в рулонах, альбомах, свитках, веерах и раскладных книжках для каллиграфии... Это был рай каллиграфа, сад неземных наслаждений, где росли кисти всех возможных форм и размеров: огромные ведьминские метлы свисали с потолков, а тончайшие кисточки толщиной с волосок на ножке кузнечика продавались пучками, как зелень на рынке. Драгоценные ларцы с тушью, шкатулки с красным воском, ажурные резные печати из яшмы, склянки с растворимыми кристаллами... Человеческой жизни не хватит, чтобы перепробовать столько удивительных сокровищ. Как жаль, что я не успела снять деньги... И как хорошо, что у меня не было с собой денег!

И все же я не могла уйти с пустыми руками. Меня вдруг охватила паника компульсивного покупателя: если я уйду сейчас вот так, несолоно хлебавши, то драгоценности обратятся в черепки, пещеры сокровищ растают несбыточным миражом, и я больше никогда не найду заветного Эльдорадо. У меня все еще оставалась сдача с такси, и я должна была купить хоть что-нибудь.

В любом случае, мне был нужен скетчбук. Без него никак. Я с каменным лицом прошагала мимо стеллажа с шикарными раскладными книжками для каллиграфии в тканевых, вышитых драконами переплетах – и выбрала простой скетчбук в твердой обложке.

На обложке было выбито золотыми буквами – «The Book of Momery», made in China. Нечто про материнство, память и мормонов, сделанное в Китае. Подходит. Что-то заставило меня вытащить с полки соседний скетчбук. Этот назывался «My Love It's Offthe». Про любовь, с которой что-то не так, видимо. Я вытащила еще несколько. Они были в обложках разных цветов и отличались по объему. Например, «A Tooth From» был существенно тоньше «Dwarf Bravery», а «Liquid Male Scholar» уступал «Dainty Protagonist» по качеству бумаги. Самый большой скетчбук уместно назывался «How Depressing», а самый маленький – «Become Door #56».

Я отнесла на кассу мормонскую книгу материнской памяти и блокнот с загадочным посылом «Стань дверью № 56». Продавец в майке оторвался от телевизора, где шло кино про войну с японцами, равнодушно взял блокноты, положил их на весы и ткнул в цифру на дисплее. Скетчбуки на развес? Серьезно? Стоили они тоже как картошка на рынке, так что мне даже хватило сдачи из такси.

Едва вырвавшись из тенет улицы арт-материалов, я обнаружила, что она переходит в улицу книжных магазинов. Я уставилась на витрину с книгами по каллиграфии глазами голод-

ного призрака и буквально оттащила себя за волосы, как Мюнхгаузен, в сторону ближайших небоскребов. Мне был нужен банкомат! Ходить по такой улице без денег было китайской пыткой. Прежде чем уйти, я нашла ее в брошюре, которую мне дал вежливый метрдотель со сложным лицом.

Улица Фучжоу (бывшая улица борделей, уточнялось в книжице) была меккой арт-материалов и книг по искусству. Как была улицей возжеления, так ею и осталась. Так. Банкомат. И супермаркет. Я ничего не ела со вчерашнего дня, и теперь «затруднялась терпеть в животе своем дупло», как выразился Пу Сунлин в своих рассказах о необычайном, которые я читала в самолете, пытаясь настроиться на местную волну. Тщетные усилия. К необычайному я оказалась не готова.

* * *

Если с банкоматом проблем не возникло, то с едой все оказалось гораздо сложнее. Я провела бессмысленный час в супермаркете, полном невообразимой и неопознаваемой еды. Глаз видит, зуб неймет. Совершенно непонятно, что можно съесть. По упаковкам невозможно определить – это молочное или рыбное, жидкое или толчёное, капустное или ананасное? С потолка свисали копченые ктулху и бедра динозавров, а прилавки ломились от пестрых сладостей, похожих то ли на бижутерию, то ли на пластилиновую еду для инопланетян.

Наконец в одном углу я набрела на стеклянный шкаф, запёртый на ключик, как в ювелирном магазине. Внутри торжественно, как часы Картье, подсвечивались несколько упаковок тостерного сыра и нарезанный хлеб. Ясно, почему вежливый метрдотель так изменился в лице, когда я спросила про «хлеб-сыр, ничего особенного...» Это вовсе не «простая еда», а роскошь для иностранцев. На эти деньги можно купить целую тачку скетчбуков на развес.

Выйдя из супермаркета, я залипла у стойки уличных торговцев кракенами. Один ловко нанизывал еще живых бэби-осьминогов на палки, а второй поджаривал их, пока те не замирали в ломанных, растопыренных позах, – и бойко раздавал по два колючих шашлыка на руки довольным покупателям в очереди. Люди ели кракенов прямо у стойки или на ходу. Девушки с лисьими ушами и солнечными зонтами делали с ними селфи.

У соседнего выхода из шоппинг-молла было пафосное уличное кафе, где готовили капустино по депрессивной цене, если считать в скетчбуках. Я все равно его купила и села за столик. Кажется, я оказалась в том пешеходном квартале, куда так стремилась толпа у гостиницы. Громкоговорители со всех сторон не затыкались. Я была в гуще магазинов, ресторанов и забегаловок на любой вкус – от трехколесных велотачек уличных торговцев фаст-фудами до пафосных заведений с нарядными красными фонариками и упитанными буддами у входа. И среди всего этого изобилия не было ничего, что я могла бы не задумываясь съесть или хотя бы опознать. Кроме осьминогов. И хотя «дупло в животе» уже затмевало глаза, мозг держал оборону против осьминогов насмерть.

Если бы не голод, в этом месте можно было бы провести целый день, просто глядя вокруг. Прямо передо мной ребенок заворуженно смотрел, как танцует манга-медведь под оглушительную музыку из динамиков у входа в магазин игрушек. Неоновые рекламы и пестрые вывески карабкались в небо по плечам домов. Вдали высились безумные, будто сошедшие с обложек научной фантастики небоскребы, увенчанные шпилями, коронами, летающими тарелками, а один – даже рогами. Мимо ездил увеселительный розовый поезд с туристами и прохаживались толпы нарядных потребителей. Над ними, на неоновом «Олимпе» огромных экранов сияющие боги и богини красили губы дорогими помадами, хохотали в кроссовках с воздушными прослойками и подносили к породистым лицам дорогие часы.

Блуждая взглядом по частоколу иероглифов, я вдруг распознала знакомую гигантскую желтую букву М. О-о-о-о, мерзкий демон глобализации, ты спасаешь мне жизнь! Я быстро

допила кофе, оставила сдачу на блюдце и устремилась к вожделенному гамбургеру. Через пару минут кто-то больно схватил меня за плечо (там остался синяк от клюки мастера кунг-фу). Запыхавшаяся официантка гналась за мной почти квартал, чтобы отдать чаевые. Она плакала. Я пыталась оправдаться, но она лишь сердито всучила мне деньги и убежала, как от чумы.

* * *

Я зашла в «Макдональдс», уныло подсчитывая, скольких хороших людей я обидела за день. Внутри было много народу и ни одной кассы. Люди подходили к экранам на колоннах, выбирали из меню, подносили телефон к QR-коду для оплаты и ожидали своего номера у желоба, по которому скатывались готовые заказы. Все автоматическое! Из обслуживающего персонала были только уборщики, и те ходили с такими лицами, будто их скоро заменят роботами и они об этом знают. Китай шагнул в недоступное мне будущее. Все платили с телефонов. Очевидно, мне был нужен местный телефон.

В лавке с цилиндром у входа я купила нечто синее под названием «изумрудный чай с жемчужинами». На вкус – как холодный чай с молоком. Пить можно, если свыкнуться с мыслью, что в любой момент через широкую трубочку в горло может залететь карамельный шарик. На первой «жемчужине» я от неожиданности поперхнулась так, что отлучалась в переулок добывать ее из носа.

Я села покурить на лавочку в тени неоновых богов. Манга-медведь дотанцевал, выключил музыку и снял кукольную голову. Под огромной круглой башкой был уставший, угрюмый тип со слипшимися от пота волосами, трехдневной щетиной и порочным лицом. Он добрал до моей скамейки, бессильно упал на нее и жестом попросил сигарету. Я дала.

Толпа у магазина мгновенно рассосалась, но ребенок остался смотреть на курящего медведя. Тот сидел, сутулый и мрачный, уставившись невидящими глазами прямо на ребенка. На лице мальчика было то тихое и чуть отсутствующее выражение, какое бывает у детей в момент обработки больших массивов новой информации. Медведь вдруг зашелся утробными, харкающими шумами кофе-машины и разродился огромным безрадостным плевром себе под ноги. Ребенок задрал голову и расплакался в небо.

Я его понимала. Танцующий, фонтанирующий весельем мишка оказался побитым жизнью, харкающим буквой. Я тоже представляла себе все иначе, а мне, между прочим, за сорок. Мой первый день в Шанхае – такой же двойственный манга-медведь: еда – а несъедобно; зеленый свет – а идти нельзя; мусор – а искусство... И главное – что с этим мастером кунг-фу? Мне не давал покоя вопрос, чем я обидела человека, спасшего меня от демонов на колесах? Может, он не нищий? Может, он тоже занимается трэш-артом и добывал в мусоре материал для инсталляций? Или он посчитал, что я плачу ему за спасение жизни? Тогда, пожалуй, этого мало. А что, если тут не принято подавать бедным? И оставлять чаевые? Все здесь иначе, и «советы – не то, чем кажутся».

Я сидела, давилась время от времени жемчужинами и думала о племенах, которые втыкали посреди деревни сакральный столб – что-то типа радиоточки для связи с божеством. Если враги похищали этот столб, то жители деревни полностью теряли ориентацию и жизнеспособность: не знали, куда идти охотиться, а где пить воду. Весь привычный уклад жизни рушился, и племя вымирало само, безо всякой кровавой резни. Как я их понимала... У меня не было столба.

3

Выдыхая жемчуг



В тщетных поисках привычной еды, ближе к вечеру я забрела на улицу скрипичных мастеров. Целая улица мастерских по изготовлению скрипок! Заходить внутрь я стеснялась и пялилась в окна на ряды виолончелей и печальных девушек, лакирующих скрипки.

В одной из лавок меня заметили и зазвали внутрь. В мастерской было три китайца. Один сидел за живописным столом с запчастями для будущей магии – видимо, мастер. Второй – посетитель – пробовал то одну, то другую скрипку. Скрипки издавали такие звуки, будто их дефлорировали. А третий просто пил и курил на диване.

Мне налили вина, и у нас состоялся разговор. Из реакций было ясно, что никто не понимает ни слова. Скрипачи произнесли все иностранные слова, которые знали, в надежде, что я пойму все, что не на китайском. Я узнала французские, испанские и русские слова. Не помогло. Но проговорили минут пятнадцать.

Если бы наш разговор подслушивал некто всезнающий, возможно, он бы выяснил, что мы беседовали о пинг-понге, спиливании деревьев или благоразумии семейной жизни. Но я думаю, мы общались глоссолалией – говорили на языке ангелов и снов. Бывает, снится, что ты познал некую важную истину – записываешь ее в полудреме, а проснувшись, обнаруживаешь лишь бессмысленный набор слов. Примерно так мы и беседовали. Наш разговор был эталоном того, как задумано человеческое общение: бессознательное общается с бессознательным напрямую, а произносить при этом можно все, что угодно:

– Вдребезги?..

– Нос книги!

– Нос книги и скрежет в носке.

(Все кивают и улыбаются. Посетитель дефлорирует очередную скрипку.)

– Шизофрения ветра в масле. Ноздря повседневности и главбух.

– Да-а-а-а, гвоздь через реку свитера.

– Тысяча шестьсот восемнадцать?

– Всухомятку.

(Мастер с готовностью освежает всем бокалы.)

– Псы потолочные!

– Комета из говядины!

– Пас бабочке!

(Все выпивают, довольные.)

– Перевернуть мохнатого краба на молодую пыль?

– А костюм?

(Посетитель кивает и играет Баха.)

– Жаба инакомыслия? Тыква!

– Перья слез! Колгот нет?

– Колгот нет.

(Все выпивают еще. Нам уютно и хорошо, атмосфера праздника!)

– Зашнурованный кислород. Вслух.

– Голый грамм. Морковная пуанта!

(Все кивают и соглашаются).

– Икотка на кузнечике.

(Все смеются. Я достаю мормонскую книгу памяти и показываю им зарисовки манга-медведя с площади и девушки, полирующей скрипку в окне соседней лавки. Скрипачи издают одобрительные гласные. Мы снова пьем.)

– Вопреки! Гладиолус...

– Маникюр политики?

– Литий.

(Я встаю прощаться.)

– Жевательная атмосфера? Положи зверя в шапку!

(Мы зачем-то обмениваемся телефонами. Наверное, нам очень хорошо в компании друг друга.)

– Компот!

– Компо-о-о-от! Клавикорды...

(Я выхожу под звон колокольчика, и скрипачи машут мне в окно, пока я не сворачиваю за угол.)

* * *

На улице уже сгушались сумерки. Меня чуть вело от выпитого на голодный желудок вина, и больше всего мне хотелось разжиться кофе и снова попасть на ту площадь с манга-медведем и кракенами. Однако, если я собиралась в галерею к Минни Маус, нужно ускоряться. Я достала телефон, открыла гуглмэпс, ввела адрес с приглашения... и телефон сел.

Ну что ж, не судьба. Я бодро пошла в сторону гостиницы, но очень скоро поняла, что не представляю себе, где это. Я тут же перестала бояться смерти под колесами тачки и начала бояться смерти от того, что без карт, связи и в полной языковой изоляции я навсегда потеряюсь в бесконечном китайском квартале, буду ночевать в парке на лавочке и закончу свои дни, роясь клюкой по мусорным бакам в поисках пластиковых бутылок.

Спросить было не у кого. Конечно, вежливый метрдотель предупреждал, что никто не говорит по-английски. Но не уточнил, что «никто» – это никто! Ни полиция, ни продавцы, ни официанты, ни сотрудники банка, ни таксисты... Таксисты! Он что-то говорил о просьбе таксисту на обороте брошюры. Еще настаивал, чтоб я взяла. О смертельно вежливый человек, ты спасаешь мне жизнь!

Поймать такси оказалось непростым делом: следовало найти такое место, где крайняя полоса не была бы занята бесконечным потоком велосипедистов, мопедов и тачек. Я перебрала несколько улиц. Большинство такси были заняты, а те, что останавливались, уезжали сразу, как выяснялось, что клиент не говорит по-китайски и нужно куда-то смотреть и что-то читать... Уже стемнело, и на бойкой дороге просто не было времени на все эти манипуляции. Я пробовала произносить адрес гостиницы по-английски, но таксисты лишь пожимали плечами и отмахивались.

После десятка попыток уговорить водителя, отчаянно тыкая в китайскую надпись и одновременно спасая голову от захлопывающейся двери, я почувствовала себя глупо и пошла

курить на лавочку. На другой стороне улицы ребенок на поводке у матери сидел на корточках под фонарем и играл с опавшей корой лиственницы. Орудовавший рядом дворник смел ивовый метлой кору у пацана из-под носа. Ребенок обиделся и истошно заорал.

Я уставилась на непроницаемую китайскую надпись. Под ней было что-то мелким шрифтом – в темноте не разобрать. Я подошла к ярко освещенной мясной лавке. С витрины на меня выпулились стеклянными глазами три расплющенные свиные морды в вакуумных упаковках. Я вытаращилась на них в ответ, пытаюсь не думать о том, что привело нас к этой встрече. Казненные Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф будто говорили: «Есть судьбы посложнее твоей. Ты только посмотри на нас! Нам отрубили головы, аккуратно сложили физиономии блинчиками, и теперь мы висим здесь, как веселые маски для утренника в стране великанов. А твое горе – не беда».

Пьяная и голодная часть меня стала думать, в каком виде это готовят и едят? Но голос еврейских предков велел отвернуться и встать так, чтобы свет падал на брошюрку. Действительно, под иероглифами была транскрипция английскими буквами того, как это произносится, по слогам. Меня осенила догадка, и я внимательно рассмотрела приглашение Минни Маус. Ага, вот! Здесь тоже было заклинание для таксиста английскими буквами мелким шрифтом. Видимо, все знают о проблеме, кроме меня.

Я несколько раз прочла абракадабру Ниф-Нифу, Наф-Нафу и Нуф-Нуфу, которые продолжали смотреть на меня с доверчиво-радостным выражением смешливых простачков в ожидании концовки анекдота. Повторяя свою мантру, я двинулась к дороге. Первый же таксист впустил меня, как по паролю. С заднего сидения я украдкой помахала в окно удивленным свиньям в витрине и мысленно поблагодарила их, как чужеземных идолов, что даровали мне удачу.

Мы тут же встали в пробку, и водитель закурил в окно. С севшим телефоном я понятия не имела, который час и опаздываю ли я на открытие. Спрашивать по-английски было бессмысленно, а внутренние часы после суточного перелета говорили мне: «Время – это иллюзия, его не существует». Ноги гудели от бесконечной ходьбы. Я навела резкость, чтобы не заснуть. На прозрачной пластиковой перегородке между мной и водителем висел длинный текст на двух языках. Правила такси среди прочего, гласили, что «пьяницы и психи без опекунов строго запрещены» и «нужно пристегнуть ремень безопасности, чтобы подготовиться к аварии». Ладно.

* * *

Я резко проснулась от того, что китаец тряс меня за плечо и что-то кричал. Я выкарабкалась из таких бездонных глубин сна, что у меня не сразу получилось восстановить реальность и понять, с какого момента теперь жить. Я в машине. Это таксист. Он китаец. Я в Шанхае! В окне кислотно-розовым неоном пульсировал вход в галерею. О, я иду на встречу с Прекрасным!

В холле галереи столы с угощениями, к моей великой досаде, уже опустели – светское общение за напитками, видимо, закончилось, но сама встреча с Минни Маус только начиналась. Я пошла на гул голосов в зал.

Народу набилось видимо-невидимо! Минни Маус стояла у стола с проектором. На ней было затейливо разодранное розовое платье с виньеткой из бордовых кишок, любовно окаймлявших на груди слова «Висцеральный концептуалист». Она казалась выше всех в комнате и, глядя сверху вниз, беседовала с маленькой женщиной средних лет, стриженной под горшок. Все выдавало в ней галериста: большие красные очки бабочкой, серьги размером с яйцо и платье с огромным портретом Энди Уорхола, прической которому служила копна белых страусовых перьев. В целом, сценка выглядела так, будто Минни Маус отчитывает большую голову Уорхола на тонких ножках.

Присесть было некуда, и многие любители Прекрасного подпирали стены. Я тоже при-
тулилась к стенке, увешанной маленькими картинками с птичьими яйцами, и стала рассматри-
вать публику: в основном – иностранцы, скучающие жены экспатов и художники, вкрадчиво
высматривающие дичь в виде галеристов.

Прямо передо мной сидела стриженная под эльфа субтильная европейка с блокнотом и
сосредоточенным видом человека, намеренного во что бы то ни стало извлечь из культуры
максимальное количество пользы. Она раскрыла блокнот сразу, как только галеристка взялась
за микрофон, и я с любопытством прочла последнюю запись: «...разво-площенные образы
реверберируют в монохромной сыворотке разочарования. Художник опирается на интуицию
пустоты, открывающейся за круговращением знаков и номинаций...» Я опознала артспик
(тоже разновидность глоссолалии) – ритуальные заклинания, превращающие в искусство что
угодно, как только «что угодно» приземлится в галерее. Видимо, эльфийка учится на критика.

– Привет! Я Стив.

Я обернулась на голос с американским акцентом. Вдоль стены, переступая через сумки и
пустые бокалы, ко мне протиснулся жилистый лопоухий парень в стертых джинсах и линялой
футболке.

– Стив! – повторил он, тыча в себя. – Мы живем в соседних студиях. Я заходил к тебе,
чтобы поехать вместе. Не застал.

Стив улыбнулся и внезапно превратился из неказистого ушастого пенька в опасного серд-
цеда. Я всегда завидовала таким улыбка-озарениям, способным полностью, в одно мгнове-
ние перековать лицо.

– Стив? Но... как ты меня узнал?

– У тебя лицо человека, многое пережившего в первый день в Шанхае.

– Да?.. Так видно? – Я инстинктивно потрогала лицо.

– Я пошутил. – Стив кивнул на гостиничную брошюрку и приглашение, которые я до сих
пор прижимала к груди, как карту сокровищ.

– А... У меня просто сел телефон, и это моя единственная путеводная нить до гостиницы.

Я сунула бумажки в рюкзак и поинтересовалась, где остальные художники. Стив махнул
в сторону первого ряда – вон, мозолят глаза галеристке. А он – нет, он не мозолит, потому что
уже выступил «на разогреве» у Минни Маус.

Стив – атональный музыкант, собирает всякие странные звуки типа строительной како-
фонии, больничных датчиков, необычного храпа, хруста суставов, желудочных шумов и вздо-
хов – и пишет из них музыку. Сегодня, например, он исполнял здесь музыку зомби – не в
смысле музыку оживших мертвецов, а музыку, которая умерла и сама стала зомби. Что бы это
ни было, мне стало жаль, что я такое пропустила.

Минни Маус все время ловила взгляд Стива. А когда наконец поймала, Стив послал ей
через зал воздушный поцелуй и свою невозможную улыбку. Минни Маус закрыла лицо руками.
Я спросила, вместе ли они? Стив сказал «типа того».

Галеристка тем временем уже представляла Минни Маус, вытянув руку в жесте конфе-
рансье: «Мы впервые встретились два года назад здесь, в галерее, на перформансе абсурдист-
ской йоги, – она подняла обе руки и изобразила позу дерева, от чего лицо Уорхола на ее пла-
тье исказила болезненная гримаса. – Я увидела эту девушку с розовыми волосами и подумала:
Розовые волосы! Почему у нее розовые волосы? Я заинтригована!»

Эльфийка впереди меня записала в блокнот: «Возможно, стоит покрасить волосы в
необычный цвет». Бедная... Очень хочет стать художником! Прямо как я.

Вскоре микрофон перешел к Минни Маус, и она мгновенно заговорила комнату в такую
изумленную тишину, что было слышно, как она нажимает кнопку на пульте проектора. На
экране замелькали розовые предметы, но на него никто не смотрел. Все глядели ей в рот, откуда
поступали сигналы марсиан.

Я исподтишка косилась на Стива, хотя с таким же успехом могла бы уставиться на него в упор: он безотрывно смотрел на Минни Маус с экстатической улыбкой. Атональный музыкант и Висцеральный концептуалист – вместе! Как причудливо тасуются человеческие пары. Маленький человек со страстью к дисгармонии влюблен в большую девушку с голосом игрушки-пищалки.

Я предалась сохранившейся с юных лет отвратительной привычке представлять себе людей в постели, как только выясняется, что они – пара. «Скажи еще что-нибудь!» – нависает жилистый Стив над монументальным телом Минни Маус на столе в студии. Минни Маус начинает цитировать «Лекцию о Ничто» Джона Кейджа:

*Я не знаю шума удивительнее, чем тот,
что производит моток проволоки,
прикрепленный к звукоаппарату
электроаппарата...*

Стив ускоряется. Минни Маус издает ультразвуки мультипликационного оргазма. На столе лопаются два бокала. Стив увеличивает скорость. Минни Маус повышает частоту. На потолке студии взрываются лампочки. Стив делает резкое движение и замирает. Минни Маус затихает, и они лежат в темноте, боясь пошелохнуться под осыпавшимися с потолка осколками лампочек, и тихая печаль опускается на их взмокшие тела и просачивается в кровь сквозь все отверстия, ибо, как сказано у древних, «после соития всякая тварь грустит».

– Круто, да? – шепнул Стив.

– Что, прости?

– Я говорю, круто, да? – кивнул он на проектор.

– Да-а-а... – Я вынырнула из воображаемого кино и навела резкость на экран.

Там показывали Минни Маус и Стива с шариковыми кляпами в разинутых ртах. Они восседали на стульях в египетских позах лицом друг в другу и были в чем мать родила, за исключением чего-то типа садо-мазо-наколенников (естественно, розовых). Из наколенников торчали гибкие пластины по принципу отрывных телефонов в бумажном объявлении. Когда влюбленные двигали коленями вверх-вниз, пластины соприкасались и издавали шуршащие и звенящие звуки.

– Розовый щекотный ксилофон – новый музыкальный инструмент, на котором можно играть только в паре! – объявила Минни Маус, сидя в точно такой же позе, как на экране, и сложив руки на коленях. – Но предметом искусства является не инструмент! Поэтому мы его не выставляем! «Щекотливая опера» – наш совместный перформанс – впервые будет исполнена на выставке здесь через две недели! Для этого мы пригласим настоящих певцов китайской оперы, но им нельзя будет петь! Только молча играть на щекотном ксилофоне! Их рты будут закрыты шариковыми кляпами – как на фото. Этот живой перформанс в равной степени объединит телесные проблемы, социальное высказывание и духовные устремления!

– Как? – шепнула я Стиву, но он лишь вопросительно взглянул на меня. – Я не поняла, как голые оперные певцы с кляпами во рту исполнят «социальное и духовное высказывание»?

– Коленками, – прошептал Стив.

* * *

Минни Маус показывала свою обширную коллекцию розовых предметов, рассортированную в инсталляции по оттенкам. Там были игрушки, упаковки, белье, зажигалки, чипсы, цветы, жемчуга, туфли, прищепки, модели кадиллаков и самолетов, таблетки, лампочки, куклы, фаллоимитаторы, надувные фламинго, манекены, душевые занавески, корзины, свитеры, термо-

метры, пакеты, колбасы, носки, джедайские мечи, зонты, водяные пистолеты, бусы, конфеты, паруса...

Эльфийка записала в блокнот название проекта – «Инстинкт обладания» – и дописала: «Красиво. Очень розово!!!»

Минни Маус сидела все так же ровно и без единого жеста восклицательными предложениями рассказывала о своей страсти все красить в розовый:

– Однажды я покрасила в розовый целый сад! – На экране возник кислотно-розовый сад, с грядками, кустами и цветами на розовой же земле. – Потом я сделала проект с розовыми тележками на шанхайской биеннале. Они привозили всех желающих в розовую галерею «Художник на полчаса». Там любой посетитель мог стать художником на полчаса! Потом я сделала проект «Розовые гипнобудки»! Шестнадцать будок в разных городах! Посетитель заходил в розовую будку, садился на розовый стул, надевал розовые наушники и слушал гипнотическую запись: «Вы становитесь умнее! Вы становитесь смелее! Вы становитесь креативнее! Вы становитесь лучше!»

В этот момент она дошла до конца слайдов и внезапно, не изменившись в лице, сказала: «Это все!» Эльфийка записала в блокнот инвективу: «Просто перечисляет проекты, ничего не объясняет».

Голова Уорхола встала и захлопала, публика к ней присоединилась. Затем маленькая головка галеристки на макушке Уорхола призвала людей задавать вопросы.

Меня потрясло, сколько у людей оказалось вопросов о розовом! Сначала я думала, что все специально задают Минни Маус вопросы, лишь бы еще послушать, как она издает свои невероятные звуки. Но розовый цвет оказался злободневней политики. Расспросы о нем не утихали больше часа. Люди хотели знать историю цвета, его географию и семиотику оттенков. Интересовались: так розовый – это серьезный цвет или что? Как теперь к нему относиться? Людей волновал его гендерный аспект, целебные свойства в тюремной психотерапии и сравнительный анализ влияния на либидо в разных странах. Я ничем не могла объяснить себе полный зал человечества, которое задает вопросы о розовом на таких серьезных щах.

Стало душно, будто не розовый в галерее обсуждали, а борцы сумо сцепились на ринге. Я попыталась выскользнуть на воздух и случайно сбила рюкзаком со стены изображение птичьего яйца. Все обернулись, как на вопрос. Минни Маус тоже посмотрела на меня, и внутренним ухом я услышала «Извини, но это не очень вежливо...»

– Да, м-м-м... У меня тоже вопрос! О розовых будках... Скажите, а эти загипнотизированные люди – что с ними стало? Помогло ли им? И как повлиял на них цвет будок?

Господи, что я говорю?! Стив тем временем поднял с пола картинку, приладил ее обратно и прошептал мне в пунцовое ухо:

– Ты разбила яйцо.

Я обернулась. На картинке действительно было нарисовано разбитое яйцо.

– Ты плохой человек. Уронила искусство. Опять! – наслаждался Стив.

Ясно. Минни Маус рассказала ему про утренний инцидент с мусорной инсталляцией. Вся резиденция, поди, уже знает.

– И поэтому будки были розовыми! – договорила Минни Маус и вопросительно посмотрела на меня. Я все пропустила, но в спасительном блокноте у эльфийки было написано «Розовый гипноз!!!» – и подчеркнуто три раза. Я сказала:

– Спасибо, очень интересно про розовый гипноз!

Когда вопросы наконец иссякли, все возобновили светское общение и полезные знакомства, разбившись небольшими группами. К Уорхолу было не подступиться. Минни Маус тоже стояла в окружении людей, не наговорившихся о розовом, и оттуда постоянно пищал будильник ее смеха. Я все еще стремилась на воздух, а есть хотелось так, что уже и кракены перестали казаться чем-то недопустимым. Я тихо выскользнула, не попрощавшись.

* * *

В ближайшем подземелье я разжилась карточкой метро и на удивление быстро в нем разобралась. Под воздействием великой силы искусства я автоматом отмечала все розовое – шрифты, зонты, туфли, фасады домов... На выходе из вагона взгляд уткнулся в прозрачные розовые будки, к которым ринулось сразу несколько людей из поезда.

Я подошла к одной. Внутри светился экран, а на нем танцевал человек в леопардовой пижаме. Перед экраном на барном стуле сидела девушка с микрофоном и беззвучно открывала рот. Караоке! Это будки караоке! Люди по одному заходили, бросали монетку и минуты две пели перед экраном. За пределами будки ничего слышно не было. То есть... люди в отчаянии. Очень хотят петь! Выскакивают из вагона метро и мчатся в будку, будто это туалет. Я была впечатлена и заинтригована.

Я зашла в будку после девушки. Внутри были бордовые шторы на кольцах. Не знаю, кого я опасалась – вряд ли кто из моего мира мог случайно застать меня в шанхайском метро за низкими караочными страстями, но за шторами было спокойнее. Я бросила монетку и нажала кнопку в китайском меню наугад.

На экране снова возник леопардовый человек. Наверное, я нажала «на бис». Как ни странно, пел он по-английски. Слова, правда, имели психоделический оттенок текстов в учебниках, которые ограничены уже известными ученику словами, а потому звучат странно, будто описывают другую реальность, где человеческие отношения так просты, что аж злоежи: «Привет. Я ем банан, а ты?» – «Я не ем банан. Ты ешь банан. Прощай.»

Человек в леопардовой пижаме пел так:

У меня есть карандаш!

У меня есть ананас!

У меня есть ананасный карандаш!

Он повторял это на разные лады под незатейливую электронную музыку, с притопом и приплясом, в ослепительно белом нигде. Я молча досмотрела, как он радуется своему ананасному карандашу. В сущности, чем это отличалось от гипнобудки? «У меня есть карандаш. У меня есть ананас. У меня есть ананасный карандаш!» – повторила я в повисшей тишине. Звучало вполне как ритуальное внушение, но смысл его оставался неясен.

Если б у меня внутри были ежевечерние новости, то начинались бы они так: «События дня: Глоссолалия, Розовый цвет и Комппульсивное пение. Не переключайтесь!» Где я? В какой реальности? Скелет этого мира стоит на розовых подпорках и поет караоке про ананасный карандаш. Я испытывала сильные чувства, знать бы какие.

* * *

Голод выгнал меня из гостиницы глубоко за полночь. Я купила первого попавшегося кракена на палке у первого встречного уличного торговца. Шашлык оказался таким острым, что из глаз хлынули слезы. Но мне было все равно – мои защиты пали. Я с жадностью уничтожала осьминога за осьминогом, рыдая крокодильими слезами на какой-то парковке с видом на чуть поредевшую и изрядно повеселевшую ночную толпу, и думала о том, что это был самый длинный день в моей жизни: он начался с Блинчика в аэропорту и закончился кракеном в центре Шанхая.

Рано утром, при въезде в Китай, как и положено иностранке, я сдала отпечатки пальцев. Очередь на паспортный контроль была огромна, как драконий хвост, и регулировалась хму-

рыми людьми с властными лицами. Однако я давно поняла, что все эти процедуры в аэропорту – ерунда и притворство.

Есть куда более строгая граница, от пересечения которой зависит вся поездка. На изнанке каждого большого города работает другая, невидимая таможня, и она по прихоти либо впускает чужака, либо нет. Если этот изнаночный департамент не открывает доступа в город, то человек не увидит ничего, кроме невнятного фасада и набора мертвых декораций, даже если проживет там месяц. Ему будет адски не везти с погодой, воры сопрут его бумажник, весь город перекроют, и так далее...

Шанхай оказался не таков. Он не просто «впускает». Он проглатывает человека сразу, как дракон – с потрохами. Без прелюдий и радостей узнавания. В недрах дракона гостяогревают клюкой, переезжают велотачкой, кормят шашлыком из кракена и проталкивают ананасным карандашом в нутро розовой гипнобудки, чтобы он стал умнее, сильнее и лучше... Вместо обычных туристических попыток ознакомиться с непривычной реальностью человек сталкивается с почти непреодолимой задачей хоть как-то справиться со всей оглушившей его новизной.

4

Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения



Следующее утро началось со скандала на кухне. Когда я пришла на завтрак, авторы мусорной инсталляции Леон и Хесус стояли у безупречно чистого стола, а вежливый метрдотель держал под локоть маленькую горничную и на китайском объяснял ей, что она натворила. Уборщица кивала, глядя в пол. Кухарка с подносами в руках застыла у шведских столов, прислушиваясь. Минни Маус, Стив и еще пара незнакомых художников следили за событиями, сидя у общего стола.

– Она не знала, что это инсталляция, сэр, – обращался вежливый метрдотель к Хесусу. – Она просто делала свою работу. Я очень сожалею, что так вышло, сэр.

Хесус – печальный человек с аккуратной седой эспаньолкой и в ярко-оранжевом шелковом халате с рисунком из ящериц и черепов – выглядел как знаток древних и сомнительных наук из фильмов про дьявольские культы. Он внимательно смотрел на метрдотеля сквозь роговые очки, сложив на груди руки в перстнях, и говорил тихим зловещим голосом:

– Я бы хотел узнать у нее, где мусор? Где то, что она убрала?

– Одну минуту, сэр.

Метрдотель заговорил с уборщицей на китайском.

– К сожалению, сэр, пластиковый мусор уже увезли. Возможно, стеклянный еще на месте. Если у вас были стеклянные детали в инсталляции, их можно...

– Она что, рассортировала инсталляцию, прежде чем выбросить? – Хесус моргнул медленно, как игуана.

– Да, сэр, мы внимательны к экологии. Политика гостиницы, сэр.

Когда метрдотель, уборщица и кухарка удалились, художники устремились к тарелкам и подносам. На завтрак были глаза заморских чудищ. «Ты пробовала тысячелетнее яйцо? – спросил Стив. – Это местный деликатес, их сразу расхватывают, потом ничего не останется. Не благодари!» Он ловко метнул палочками мне в тарелку пару мутных глаз. На столе еще были ломтики корня лотоса, грибы энokitaki, побеги бамбука, несколько фруктов и овощей. Я взяла морковь, банан, бамбук и пару ломтиков лотоса – из-за красоты: они выглядели как ажурные срезы сырой картошки в дырочку. На вкус оказались примерно такими же.

* * *

Хесус был расстроен. Днем в отель должен был прибыть куратор резиденции, и Хесус желал показать ему инсталляцию «в процессе». А теперь – что показывать, что? Его напарник Леон – на вид высокий бородатый лесоруб – напротив, был в прекрасном расположении духа. Даже в этой кошунственной ситуации он лучился любовью к искусству, злополучной уборщице, тысячелетним яйцам и любым капризам бытия.

– Как что показывать куратору?! Вот это и показывать! – радовался Леон. – Вся эта история – и есть произведение искусства!

– Ну нет, – возразил Хесус, – история о том, как уборщица приняла искусство за мусор – старая шляпа. Херста выкидывали, Бойса отмывали... Было уж сто раз.

– Кто это Херста выкидывал? В смысле – Бойса отмывали? – вклинился Стив.

– Уборщик лондонской галереи выбросил инсталляцию из пивных бутылок, недопитого кофе и окурков.

– И Херст, кстати, считал, что это отличное завершение инсталляции! – не унывал Леон.

– ...а грязную ванную Бойса стоимостью, между прочим, четыреста тысяч фунтов, отмыли в академии искусств Дюссельдорфа, – продолжал Хесус, не обращая внимания на попытки его приободрить. – Или, скажем, в Италии случай был. Уборщица приняла за мусор бутылки из-под шампанского, серпантин и окурки на полу, смела все и выбросила. А между тем, это была инсталляция, критикующая итальянскую коррупцию. Ну и коне-е-ечно! Началось вот это все. «Уборщиц – в кураторы!» Это же любимый конек всех ретроградов: какой мусор – это ваше современное искусство, из какого дерьма и палок оно сделано...

Хесус вынул из шелкового кармана футляр с лакированными палочками, зажал их в пальцах и хищно защелкал ими:

– А публика хаает с большим воодушевлением, потому что зачем, зачем давать себе труд разбираться в современном искусстве, если можно травить такие смешные шутки про уборщицу, разоблачившую голого короля... Фу! Пошло, плоско, смехотворно!

– Душа моя, в искусстве нет понятия «смехотворно», – Леон продолжал излучать радиоактивный уровень радости, – даже сама мысль об этом смехотворна. Взять хоть бы ее!

Он ткнул в меня.

– Она вчера тоже чуть не уничтожила инсталляцию!

Я напряглась.

– Но ей можно и даже нужно! Потому что она – художник!

Я удивилась.

– Огромная разница с уборщицей, огромная!

Я испытала смутное облегчение.

– Между художниками происходит диалог, жест и комментарий.

Я запомнила.

– Ведь что есть инсталляция шанхайского горизонта из мусора? Стаканчики? Пластиковая сетка? Одноразовые коробки и шарики для пинг-понга? О нет! Это был, – Леон ткнул палочками в доску с эскизами и процитировал, – «критический комментарий о всевозрастающем влиянии консюмеризма на экологию Китая»! А она?

Леон обошел стол, встал у меня за спиной и возложил руки на мои плечи, словно демонстрируя собравшимся предмет своей мысли:

– Она рушит инсталляцию. Назовем этот перформанс «Художник пьет из пластикового стаканчика». О чем этот жест? Она не пьет! Она демонстрирует расточительность общества потребления. Это уже диалог! Развитие! Событие, в конце концов!

Леон закинул в рот тысячелетнее яйцо с моей тарелки, проглотил, не жуя, и продолжил, размахивая палочками, как дирижер:

– Взять хотя бы «Двое обнаженных прыгают в кровать Трейси»? Когда Трейси Эмин выставила в Тейт свою небубранную постель? Ту самую, где провела несколько недель в суицидальной депрессии и беспорядочных сексуальных связях? Ну вы помните. Двое других художников запрыгнули в кровать прямо на выставке и хотели заняться там критическим сексом – прокомментировать работу Трейси. Они, конечно, успели лишь подражаться подушками прежде, чем охранники уволокли их прочь... под аплодисменты публики. Кстати, уверенной, что все это было частью произведения искусства. А так и было! Это диалог между художниками, как у нас! – Леон слова ткнул палочками в меня.

– И! – осенило его. – Музейная уборщица потом тоже «прибрала» кровать Трейси. Подумала, кто-то из посетителей устроил на ней бесчинства – и вот... Все как у нас! У работ часто случается своя жизнь, разве нет? В искусстве участвуют все, кто на него хоть как-то реагирует. И уборщицы, несогласные с художественным высказыванием, – тоже часть искусства. Как сказал этот, в костюме? «Она просто делала свою работу»? Ну что ж. Значит, это ее комментарий о поверхностности искусства. Пусть неглубокий. Но поучаствовала она честно. Разделила мусор... Деконструкция! Постмодернизм! Да она буквально подняла работу на новый уровень! Произвол уборщиц, наш разговор – все это, – Леон обвел палочками шанхайский пейзаж, осиротевший стол у окна и всех собравшихся, – и есть искусство. Потому что искусство – тоже произвол. Безобразие! Оскорбление! Поругание самого искусства! Все это – его часть. А разве сама жизнь – не произвол? Она непонятна, запутана и абсурдна. Неясно, как ее трактовать и комментировать. Иногда настолько, что хочется выбросить ее в мусор!

Все захлопали, а Хесус выключил телефон. К этому моменту речь Леона снимали уже три художника. Будет, что показать куратору. Леон снова опустил руки мне на плечи и даже с чувством пожал их, как ветерану тысячи поруганных инсталляций. Синяк от клюки все еще болел. Хесус протянул мне через стол руку в перстнях и сказал, что рад такому яркому знакомству.

Я почувствовала себя приезжей, радушно принятой в странный призрачный мир, где малейшее движение – «жест», молчание – «высказывание», а глоток из стаканчика – «критическое суждение». В этом было что-то фетишистское: любое действие мгновенно становилось актом созидания или предметом искусства. Очень удобный мир.

Я собралась совершить перформанс «Художник ест тысячелетнее яйцо». Оно смотрело на меня из тарелки, как око Саурана. Черный желток в прозрачно-коричневом белке зловеще переливался под слоем зеленоватой плесени. Мне никак не удавалось ухватить его палочками. Наконец я просто проткнула его, но оно тут же соскользнуло, а на палочках осталась черная токсичная слизь. Остаток завтрака я неловко елозила палочками по тарелке, пытаясь похоронить сатанинский глаз под кружевными ломтиками лотоса.

* * *

Я хотела потратить этот день на «ритуальный столб» – организовать себе местный телефон, интернет и тому подобное. Но, как выяснилось за завтраком, в резиденцию приезжал куратор с намерением обойти студии, посмотреть работы и поприветствовать новеньких. Я осталась в гостинице.

Все готовились. Слева, из студии Стива, доносились какие-то шарканья, шорохи, щелчки, потрескивания и вздохи («это звуки морга» – пояснил Стив). А в студии справа от меня жила Абстрактная Поэтесса – замогильно бледная андрогинная китаянка. Ее дверь была открыта, и я зацепила взглядом коллекцию ярких тряпичных покемонов на столе. Мы разговорились. Оказалось, это не покемоны, а традиционные китайские тигры. Их дарят младенцам

как оберег от злых духов. Поэтесса покупает их в магазинах и на блошиных рынках, распарывает и зашивает внутрь по смертельному стихотворению. Это ее проект.

Некогда у Поэтессы случилась трагичная история любви, послужившая большим взрывом для вселенной ее лирики. Она рассказывала об этом торжественно, с отрепетированными паузами и той заунывной, сбивающей с толку интонацией, которой часто грешат поэты – будто выпускают изо рта не фразы, а смертельные дозы печали. Но история Поэтессы была так поразительна, что я продралась через все эти театральные завесы и по возвращении к себе немедленно записала ее своими словами в «мормонскую книгу материнской памяти»:

Джульетта (будущая Абстрактная Поэтесса) выросла в туманной Сычуани, где собаки с непривычки лают на солнце. Ромео – в Сучжоу, китайской Венеции. Оба – единственные, возлюбленные дети. Ей родители накопили на колледж в Сан-Франциско. Его нанял какой-то стартап в Силиконовой долине. Познакомились в Америке случайно. Потом она уехала жить в Шанхай, а он остался в Штатах, но у них развилась любовь на расстоянии.

Сначала они взапой переписывались, потом ежедневно созванивались, делились самыми крохотными подробностями дня и по часу молчали в трубку, тихо вождедая друг друга.

И тут у него случилась командировка в Китай. Но не в Шанхай, а в какую-то отдаленную северную провинцию. Она поехала через всю страну, чтобы провести с ним там единственную ночь.

А город, в котором они встречались, был знаменит своим тигриным заповедником. Ну и перед отелем влюбленные решили культурно провести время в зоо парке. Сели в специальный автобус с открытым верхом и перилами в защитных сетках, который возит туристов по территории, чтобы те могли любоваться тиграми в естественной среде. А в конце экскурсии – гвоздь программы: автобус останавливается на поляне, где гостям предлагают угостить тигров. Платишь сто юаней – привезут курочку, платишь шестьсот – кабанчика, и весь автобус может наблюдать, как тигры делят дичь.

Впереди будущей Поэтессы и ее возлюбленного сидели «папик и шикса», портили им романтику. Шикса противным голосом уговаривала папика купить кабанчика, но тот соглашался только на курочку, и она шантажировала его – мол, тогда и ночью получишь курочку вместо кабанчика.

Позади них тоже сидел элемент потной реальности, нарушавший идиллию: какой-то егозливый подросток все время дергался, бормотал что-то, хрипел... Словом, городской сумасшедший.

Папик тем временем уперся – только, мол, курочка. Экскурсовод, поджав губы, объявила в микрофон – во-о-от щедрый господин сейчас порадует нас зрелищем. Все вяло похлопали, и в скором времени курочку доставили и кинули тиграм. Те ее быстро и почти бескровно оприходовали. Все разочаровано посмотрели, кроме городского сумасшедшего сзади. Тот аж взвыл от восторга. Что-то там долго рылся в карманах, накопал у себя сотню – и заказал еще курочку.

Влюбленные к тому времени расслабились – тихий смех, рука на коленке, сладко замершее сердце...

И тут привезли вторую курочку. Заказавший ее паренек, не дожидаясь конца незатейливого зрелища, вдруг перескочил через перила и, раскинув руки, побежал на тигров. Тигры растерзали и сожрали его мгновенно. Никто из зрителей даже не закричал – не успел.

Позже Поэтесса выяснила, что парень-самоубийца тоже ехал через всю страну – чтобы отдаться смерти своей мечты. Очень хотел стать тигром. У него получилось, а вот у пары любви в ту ночь так и не произошло. Расхотелось. Больше они никогда не переписывались и не перезванивались.

С тех пор в сердце Поэтессы клубится страх смерти, а строфы, объясняющие ее тоску и огорчение, она складывает в игрушечных тигров. Каждый стих описывает последний день из

жизни реального самоубийцы. Я вытащила один из ватного нутра еще не зашитого зверя. Он начинался словами «В жизни есть жизнь, а в смерти есть смерть». Но Поэтесса тут же отняла у меня бумажку, свернула и засунула обратно. Не для того она прячет свои стихи в тигров, чтобы их читали люди! Тряпичный тигр – игрушка-талисман, защитник от злых духов, посредник между живыми и мертвыми. Стихи адресованы в загробный мир, духам.

Это очень красиво, сказала я.

* * *

В ожидании куратора я рассматривала потолок. Лежа между зомбомузыкой и загробными тиграми, я впервые задумалась о своем проекте.

Похоже, я одновременно попала в два новых мира. Один – это, собственно, Шанхай, а второй – бессмысленный и беспощадный мир совриска. Что я знаю о нем? Хесус и Леон вышивают экологический манифест на мусорных пакетах. Минни Маус красит в розовый гипнобудки. У Стива оживает морг. Очевидно, все в этом мире заняты чем-то затейливым. Что я скажу куратору?

Я прибыла из мира, помешанного на ясности и простоте. Коммерческая иллюстрация – это «понятные, красивые картинки». В моем мире «комментировать» могут только заказчики, и все их «критические суждения» направлены на то, чтобы изображение вызывало как можно меньше разночтений. Здесь же все наоборот. Парни не прыгают в неубранную постель, чтобы заняться сексом. Они «комментируют» работу и «развивают мысль». Знать бы какую... Поэтесса не говорит: «Я зашиваю стихи о самоубийцах в тигров». Она называет их «сублимацией танатополического дискурса», а свою шикарную историю о тиграх – «мифом о происхождении художественной личности». Она даже не говорит: «Я пишу абстрактную поэзию для призраков», хотя разве это не звучит? Но нет. Она занята «фантомной ксеногlossией» и оперирует фразами типа «художественное высказывание превращает отсутствие в присутствие» или «близость – это форма отчуждения».

Мой же проект заключается в том, что «я буду рисовать шанхайскую жизнь». А как же «художественное высказывание»? И, кстати, что это? Я поняла, что не владею даже лексикой, не то что технологией.

* * *

Куратор представился как мистер Ын. Это был немолодой, вальяжный человек с грушевидным лицом, наполовину состоявшим из подбородков, и уверенной манерой держаться, заставлявшей сразу же искать его расположения. В руках у него был загробный тигр – видимо, только что от Поэтессы.

Я поинтересовалась, читал ли он стихотворение в тигре? О нет, ответил он, и никогда не прочтет. Ведь для этого пришлось бы распороть тигра и разрушить произведение искусства. Но разве ему не любопытно?

О да, но в любопытстве весь смысл – сказал мистер Ын. Фантазировать важнее, чем знать. Я не стала спорить, хотя сама бы обязательно вспорола и прочла.

Мистер Ын говорил о любви к современному искусству и удовольствии находиться среди творцов, в «пространстве удивительных творческих вибраций». Настаивал, что носит в груди «горящее сердце». Называл художников «архитекторами реальности» и, судя по всему, испытывал перед ними пугающий пиетет. Художники – его страсть. «Я часто прихожу просто бывать здесь, заходить в студии, вести беседы об искусстве...»

Как выяснилось, это он, а вовсе не Джордж Клуни выбрал меня для этой резиденции и поступил так из-за рисунка, который очень понравился его жене. Сам он коллекционирует

только перформансы, но жена тоже балуется коллекционированием и хотела бы приобрести ту работу. Не привезла ли я ее случайно с собой? Я случайно привезла. Рисунок был в блокноте с израильскими зарисовками, последние из которых я делала в аэропорту. Там были изображены три арабских женщины в хиджабах, торгующие специями на иерусалимском базаре.

Мистер Ён полистал блокнот, глянул книжки с моими иллюстрациями и пару вчерашних зарисовок в книге мормонской памяти. Сказал «очень красиво!» Я обрадовалась, но скоро поняла, что это ругательное выражение, которым обзывают слишком понятное искусство – в совриске красота уже лет сто как под подозрением. «Я вижу зажатость». «Дай себе волю, выйди за рамки!» Глядя на девушку со скрипкой, похвалил пятно, случайно оставшееся там от вина, которое мы распивали со скрипачами: «Оно интересное».

В целом, эти работы хороши как иллюстрации, но для искусства этого мало. Я же хочу быть художником? Ну да... я хочу. «Но ведь кто такой художник? – спросил мистер Ён, подавшись вперед. – Тот, кто заглядывает за черту! Ту самую, которой обыватель сторонится. Художник не бывает конформистом! Умение сколь угодно красиво и грамотно рисовать не имеет к этому никакого отношения». Я виновато подумала о том, как красиво и грамотно я умею рисовать вместо того, чтобы заглядывать за черту.

Он надеется, что резиденция «раскроет мой потенциал» и я смогу «пуститьсь на поиски куража и совершить дикий кульбит фантазии», на которые толкает «локус места». Ведь что такое Шанхай? Это не просто город. Это ярмарка тщеславия, рынок идей, сад удовольствий, камера пыток и дерзкая буффонада. Нет лучшего места для творца! Многие художники объединяются, возникают новые идеи и перформансы... А вот я что собираюсь делать? Каков мой проект? Но если я пока не готова делиться своими идеями, он это уважает. Он уверен – я создам нечто потрясающее! Я пробубнила, что пока думаю просто рисовать... «Да-да! Раскройся! Верши безумие! Шагни в бездну! Ты должна вывернуть наизнанку сердце – иначе никто не обратит внимания... Ты слишком рассудочна. Нужна ярость!»

Все это звучало зловеще. Волею непостижимой внутренней алхимии переполнявший меня ужас выходил наружу в виде бурного энтузиазма. Я сказала, что «очень вдохновлена» и уговорила его принять в подарок рисунок с арабского рынка.

Вечером Мистер Ён созывал всех на ужин. Ужин с художниками в день приезда – его личный ритуал, которому он придает огромное значение. И какое наслаждение эти встречи! Стоит собрать творческих людей за угощением и беседой, и такое начинается... Я сказала, что обязательно приду. А завтра он будет рассказывать о китайском современном искусстве – если, конечно, интересно. О, разумеется, интересно! (Это было чистой правдой. К тому моменту мое любопытство к странному миру совриска было на пределе). Тогда до вечера, попрощался он.

* * *

Собираясь на ужин, я пошла гладить рубашку в прачечную – небольшую комнату в конце змеино-го коридора. Оказалось, что войти можно, а вот выйти – только с карточкой от номера. Карточки у меня с собой не было. Телефон я тоже не взяла. Я даже дверь в студию не закрыла: после обхода куратора все разбежались, и этаж художников выглядел необитаемым.

Какое-то время я мысленно созерцала перспективу того, что вместо ужина «в пространстве удивительных творческих вибраций» проведу вечер в пространстве гладильной доски и трех стиральных машин. Одна из них была полной. Есть ли шанс, что хозяин хватится своей стирки в ближайшие полчаса?

На одной из стиралок кто-то оставил библиотечную книжку по истории перформанса. Я поинтересовалась.

Начиналось все невинно. Некий Аллан Капроу, один из родоначальников жанра в шестидесятые, излагал в эссе с уместным названием «Искусство, которое не может быть искусством»

почему перформанс «Художник чистит зубы» – это новое искусство действия. Картинки иллюстрировали разного рода хэппенинги типа: женщина выдавливает апельсин; люди трогают кубики льда, пока те не растают; художник носит за собой по городу стул и фотографируется на нем...

Однако дальше книжка переходила к радикальным движениям в перформансе, самым свирепым из которых были венские акционисты, и «искусство действия» превращалось в кошмар. Люди шестидесятых творили неистово. Загипнотизированная силой искусства, я даже забыла, что заперта и пропускаю ритуальный ужин с куратором.

Подобное я испытывала лишь дважды в жизни. В четвертом классе подружка позвала меня в гости после школы, когда никого не было дома. Она знала, где отец хранит ключ от стола, в котором спрятаны советские порнографические игральные карты и видеокассета про распутную Мессалину. Я не знала, что думать об увиденном на картах и видео. После первой же карты с фотографией голой женщины на коленях, прильнувшей к чреслам усатого мужчины в военной форме, я впала в ступор. Ничего в моей предыдущей жизни не могло подготовить меня к увиденному, и я просто приняла к сведению, что так, видимо, бывает.

После фильма подружка предложила поиграть в Калигулу и Мессалину. Она напялила на меня рыжий парик а-ля Пугачева, который ее мать хранила в коробке с шариками от моли под кроватью, а сама стащила из комнаты младшего брата космическую ракету с большими буквами СССР и фотографией Гагарина в иллюминаторе, нацепила ее ремнем на трусы, как гигантский фалл, и стала гоняться за мной по квартире. А когда догнала, то повалила на пол и с воодушевлением заерзала на мне, хотя ракета между нами ей сильно мешала. Тогда-то я впервые испытала ощущение непростительного греха – помесь необъяснимого чувства вины, отвращения и растерянности от того, как оно в жизни бывает.

Второй непростительный грех я совершила подростком, когда поинтересовалась случайно попавшей мне в руки книжкой маркиза де Сада «120 дней Содома». Трудно сказать, что повергло меня в больший ужас: размах фантазии по части порока или тот факт, что я, советская пионерка, безотрывно прочла достаточно для того, чтобы даже устать от однообразия самого немыслимого разврата. Дочитав до «убийств из сладострастия», я, пораженная до глубины души, выбежала в подъезд, чтобы спустить книжку в мусоропровод. Он оказался запаян, и я так и оставила книгу там, в закутке, не решаясь ни выйти с ней на улицу к бакам, ни занести обратно в квартиру.

И вот чувство тайного, темного святотатства настигло меня в третий раз здесь, в шанхайской прачечной. Хроники перформансов венских акционистов выглядели как помесь извращенной порнографии и запретных экспериментов над людьми в концлагерях. Оргии, расчлененка, увечья, пытки, кишки, мясо, разложение, мумификация, бичевание, жертвоприношение, тампон, шрамы, член, зад, испражнения, член, слизь, краска, пожирание живого цыпленка, член, жижа, член, степлер, сперма, месиво, крошево, член, топор, член, член, член, о, воздушный шарик...

Это была болезнь Туретта, воплощенная в действии. Будто сама преисподняя проглотила слабительное и разразилась липким, скользким, яростным потоком диареи прямо в человеческую реальность.

Я продолжала листать, как заколдованная. Секс в коляске, голова в тазу, зонт в заднем проходе, член с розой на подносе (с розой)... Что ты на это скажешь, Иероним Босх? В раскадровке одного из перформансов художник посыпал голую женщину мукой, разбивал на ней топором яйца, вымачивал ее в краске или кровище, поливал супом, томатным соком, молоком, кровью, вишневым компотом, умащивал взбитыми сливками и внутренностями животных, колошматил по ней спагетти, вываливал в перьях, панировочных сухарях и фекалиях и, наконец, высадил в зад у дамы цветок.

Было что-то гипнотическое в том, как быстро эти фотоснимки проваливались сквозь тысячелетние слои культуры в бездну хтонического ужаса и полного безумия. Будто в человеческой душе есть лифт в крошечный хаос, а венские акционисты обнаружили его и усовершенствовали до мгновенной телепортации.

Названия перформансов звучали как перечень заклятий: «Мама и папа», «Серебряный зад», «Натюрморт с двумя головами: свиной и женской», «Маниакально-психический балет», «Концерт, исполненный на воздушных шариках», «Деграция женского тела, унижение Венеры»...

Бедная униженная Венера! Я представила себе ее биографию: родилась из морской пены, взбитой упавшим в море божественным фаллосом Урана, оскотенного собственным сыном Кроносом. Дети, что с них взять. Жила в любви и неге, почиталась как богиня красоты, купалась в лунном свете, воровала покой у смертных и богов, оживала из мрамора, просачивалась из человеческих грез на полотна – томная, жемчужная, будто сотканная из тоски по несбыточному. Проводила столетия в счастливой праздности – возлежала на венецианских подушках, спала, смотрелась в зеркало или задумчиво внимала лютне. Пока не наступил двадцатый век и не согнал лентяйку с кровати. В новом, неистовом мире машин, стекла, бетона, электричества и «огненных орхидей, распускающихся из дул пулеметов» не до кисельной праздности. Некогда купаться в лунном свете. Встала и пошла работать в бордель Авиньонской девицей! И она работала, пока не превратилась в женщину де Кунинга – ту самую, которая «Жэнщина! Передайте на билет...» За время войн, революций и механизаций Венера наконец повзрослела. Ясный свет испарился из глаз, жемчужное тело потускнело и расплозлось бесформенной тушей на полотнах Дюбюффе. Она отупела, превратилась в вещественное – из чистой небесной субстанции загубела в ущербную, скандальную бабищу. Скатилась по кривой дорожке до омерзительной клоаки, где ее, поруганную вермишелью, наконец расчленили для натюрморта со свиньей. И теперь богиня красоты доживает свои дни огрызком тошнотворной плоти то там, то тут, как демон, которого демиурги совриска не смогли уничтожить до конца из-за врожденного бессмертия, но покалечили до состояния полоумного сморчка. Как так вышло?

Я уже поняла, что в мире совриска не принято объяснять свои действия – только «комментировать» непонятное еще более невразумительным, но все равно стала искать ответы в тексте. Там подробно описывалось, как исполнить акцию: «Материалом может служить все: люди, животные, растения, еда, пространство, движение, шумы, запахи, свет, огонь, холод, тепло, ветер, пыль, пар, газ, события, культура и спорт. Художник беспощадно исследует все возможности материала, погружается в неистовый вихрь действия и оказывается в реальности без преград – ведет себя как полоумный и пользуется привилегиями юродивого. Художник и сам становится материалом, пока спотыкается, заикается, бормочет, мямлит, сюсюкает, стонет, задыхается, орет, смеется, плюется, кусается и катается в материале». Ну хорошо, эта инструкция описывала, как «заглянуть за черту», но не объясняла зачем.

Основатель движения, художник Отто Мюль (автор цветка в венерином зад), высказался так:

«Эстетика навозной кучи – моральное средство против конформизма, материализма и глупости». Ритуальное заклинание. Ясно, что ничего не ясно. Зато в одном из последних интервью Мюль описал движущую им силу всего в четырех словах: «Мне нравится проклинать людей».

Вот теперь ясно. Человеку нравится проклинать людей. Люди привыкли быть проклятыми со времен Эдема. Повозмущались для приличия – и растащили проклятия по музеям, сложили в копилку вечности.

Я закрыла книжку со смутным желанием спустить ее в мусоропровод, но вспомнила, что заперта. Сколько времени я провела в аду проклятий? На ужин я, очевидно, не попадала. Что я скажу? «Где ты была?» – «О, я отлично провела время в обществе гладильной доски!» А если

никто не явится и мне придется здесь ночевать? В конце концов, прачечная – не кухня, люди могут обходиться без стирки сутки и больше. Может, покричать? А на каком языке кричать? И что?

Я представила, как превращаюсь в местную сумасшедшую, которая пропустила ужин с куратором, потому что застряла в прачечной и одичала там, издавая истошные вопли, пока ее не спасли уборщицы, враги искусства.

* * *

Я очнулась на полу прачечной, как мне показалось, от столетнего сна, когда дверь распахнулась и в проеме появилась фигура, облаченная таким ослепительным сиянием, что я заслонила глаза рукой, как вампир.

– Я – затмение, – произнес темный силуэт.

– ...да, очень похоже. Ты стоишь против света...

– Нет, меня так зовут. Мое имя переводится как Осеннее Затмение.

– Как прекрасно. А мое имя переводится как Свет.

Это звучало как начало удивительной дружбы.

5

Полуночники



Я прозвала ее Шанхайской Принцессой, потому что она была местной и красивой. До встречи с ней поэтичные описания из китайской литературы типа «она была прекрасна, как цветок абрикоса, увлажненный легким туманом» я воспринимала как культурные коды женской красоты вообще. Но вот же – передо мной была ожившая метафора, из плоти и крови. От нее исходило спокойствие совершенства, которое облагораживало собой все вокруг. Даже корзина с бельем в ее руках превращалась в корзину с бельем и вечной, возвышенной красотой.

Ее первым вопросом было не «что ты здесь делаешь?» и не «давно ли ты спишь на полу прачечной?», а «кто ты по гороскопу?» Она просто начала светскую беседу, элегантными движениями загружая белье в стирку, как будто ничего другого и не ожидала тут увидеть.

– Рыба.

– Кто ты по *китайскому* гороскопу?

– А. Дракон.

– О-о-о-о-о... – Она оторвалась от мерного стаканчика, в который наливала ополаскиватель. – Значит, тебе сорок два?

– Да. Откуда ты знаешь?

– Я тоже дракон, и мне тридцать. Мы совместимы. Есть хочешь?

– Дико. Я же пропустила ужин с куратором.

– Когда?

– Сейчас. Вернее, без понятия. Должен был быть в семь. Ты не знала?

– Я не слежу за общественной жизнью. Но куратора, конечно, динамить не стоило...

Черт...

Принцесса посмотрела на часы в телефоне и по ее лицу было ясно, что сделанного не исправишь. Я вспомнила:

– Но завтра он проводит еще какую-то ретроспективу китайского совриска.

– Отлично, – воспрянула Принцесса. – Значит, завтра сходим на ретроспективу, а сейчас пойдем в пельменную.

* * *

Заныканная на соседней улице пельменная явно была заведением для местных: никто не кричал в мегафон на входе – сразу и не поймешь, что здесь вообще чем-то торгуют. Принцесса

заказала на свой вкус, и мы встали в очередь к окошку, из которого раздавали заказы, как в школьной столовой.

Сели за столик, огороженный ширмой в углу. Принцесса наполнила маленькое блюдо соевым соусом из фарфорового чайника и добавила в него ложечку пряной пасты из розетки с чили. Я все повторила за ней, как ритуал.

– О боже... это вкусно!

– Конечно, вкусно, – подняла брови Принцесса. – Этому заведению почти сто лет. Здесь настоящие, нетуристические пельмени.

– Не-е-е-ет, ты не понимаешь. Это первая вкусная еда, которую я здесь попробовала. Я умираю от голода с момента приезда. Я буду ходить сюда каждый день!

Принцесса взглянула на меня со смесью любопытства и жалости.

– Ладно, западный человек. Покажу тебе еще несколько мест. Дай свой вичат.

– У меня нет вичата.

– Как же ты со всеми общаешься?

– Никак. Я только сегодня купила местный номер.

– Дай я тебе установлю.

Принцесса умудрялась одновременно колдовать в телефоне и изящно есть, ловко орудуя палочками в тарелке и соуснице. Я же боролась с каждым пельменем, как с Чужим, роняя его в соус, протыкая и подвергая прочим пыткам прежде, чем наконец съесть истерзанным и расчлененным.

– Какой у тебя номер? А... ладно. – Принцесса с интересом взглянула на майн кампф с пельменем и сама позвонила с моего телефона на свой.

– Ого! – замерла она, не донеся пельмень до рта. – Какой у тебя крутой номер телефона!

– Да, я знаю. Очень простой.

– Ну да... Только иностранка могла согласиться на номер с шестью четверками.

– Почему?

– «Четыре» по-китайски звучит так же, как «смерть» – несчастливая цифра. Ты заметила, что у нас в гостинице, например, в лифте нет четвертого этажа?

– Да?... А я радовалась – такой удачный номер, легко запоминается...

– Всех китайцев он будет приводить в ужас. Столько смерти в одном маленьком айфоне!

* * *

По дороге в гостиницу мы купили вина и пошли распивать его в бар на крыше с великолепным видом, мусорное подобие которого утром разорила уборщица. Небоскребы пульсировали кислотной кардиограммой в вечернем небе. Принцесса уверенно прошла к самому козырному столику на краю крыши и расставила на нем вино и бокалы, прихваченные из студии.

– А... нас не прогонят? – я оглянулась на пафосный бар, официантов во фраках и нарядную публику, распивающую коктейли по цене тонны скетч-буков.

– Они привыкли. Мы же художники, – Принцесса произнесла «художники» в значении «короли мира».

Мы разговорились, я стала расспрашивать ее, откуда она и что с ней было в жизни до этого момента.

Шанхайская Принцесса провела детство в идиллической аркадии среди рек, холмов и туманов, словно сошедших со свитков китайской живописи. Она показала мне ролики из последней поездки к родителям на остров: они с матерью собирают личи хитроумным приспособлением на длинной палке; светляки то вспыхивают, то потухают в ночном саду; Принцесса с отцом исполняют тайцзы у храма, поросшего мхом, а вокруг них бегают колченогая собака; луна отражается в луже; бабушка сидит в кресле, по ее тени скачет лягушка, Принцесса под-

ставляет ладонь, сажает лягушку к бабушке на колени и говорит что-то на китайском. Они смеются.

– Что ты ей сказала?

– Это старая семейная шутка. Когда я была маленькой, бабушка говорила: «Будешь плакать – из коленки выйдет жаба».

– Ты верила?

– Конечно. Вокруг было полным-полно жаб и плачущих детей. Я была уверена, что одно вышло из другого.

– А почему она так говорила?

– Это из сказки про лунную лягушку. Бабушка мне ее читала. Я очень любила страшные сказки.

– О, я тоже. Расскажи!

– Там так. Из нарыва на колене бездетной женщины выкатилось яйцо, и из него вылупился сынок – вонючая жаба.

– О! Продолжай.

– Муж женщины отвел сына-жабу в лес и повалил на него дерево. Но тот вскоре вернулся и дерево на себе припер. Тогда отец попытался раздавить его валунами, но тот тупо тащил на спине все, чем ни пришибут. В общем, Жаба остался жить и даже вытребовал себе невесту. Все его ненавидели, а невеста – пуще всех. Но от плача Жабы гибли рисовые поля, и он этим всех шантажировал. Женился. Ходил каждый день работать в поле, а жена думает – как же он там работает? Он же жаба!

– Да, и как?

– Она пошла за ним подсматривать. И увидела там ученого красавца – сам лежит с книгой, а множество духов за него в поле трудится. Тогда она нашла его жабью кожу и сожгла ее.

– А-а-а... У нас есть похожая сказка, только все наоборот: жаба – это неземная женщина. Так, а луна при чем?

– Терпение!.. Он, как узнал, что жена сожгла шкурку, очень расстроился. Говорит – теперь я умру мучительной смертью! Ты должна готовить мое тело на пару семь дней – тогда я снова стану лягушкой. Но жена варила его только четыре дня, пока он наконец не умер, а потом закопала его.

– Что с этой женщиной не так?

– Ну, может, она не хотела жить с жабой! Типа, лучше уж вдовой, чем так. Закопала труп, пока он не обратился. Но тут, знаешь, все хороши... Ночью он выполз из могилы зомбожабой, забрался через окно к жене в постель и прыгнул ей между глаз. И как она ни пыталась содрать его с лица – все тщетно. Той же ночью она ушла подальше от всех – не показываться же людям на глаза с жабой на лице? Ну и умерла где-то в глуши от позора и потери лица. Тогда Жаба слез с нее и, перескакивая с горы на гору, допрыгнул до луны и сел на лицо ей. Так с тех пор там и сидит.

– Потрясающе. Значит, на луне сидит жаба-зомбак из яйца на коленке?

– Типа того... Ну и вот. Бабушка грустила, что я уеду. А я сказала, чтоб не плакала, не то жаба запрыгнет обратно в коленку.

* * *

Ночной бар на крыше постепенно наполнялся людьми. Небоскребы за рекой вспыхивали, переливались и перемигивались неоновой азбукой Морзе, будто посылали в космос сигналы о межгалактической дискотеке.

– И давно ты давно уехала от родителей? Сколько уже в Шанхае?

– Не знаю, лет десять... – Принцесса прищурилась, рассматривая ночную панораму сквозь бокал. – Моя мать очень хотела мальчика.

– Почему?

– Она считала, что девочки выходят замуж и уезжают. Ну или не выходят замуж и уезжают – как я. А родителей на старости лет содержат только сыновья. Она даже ходила в особый храм просить у богов сына.

– Что за храм?

– Круглое такое здание с барельефами. На барельефах – много-много маленьких мальчиков. Все чем-то заняты – играют, бегают, прыгают... У каждого торчит из раскрашенных штанов доказательство того, что он – пацан. Женщина должна отломать маленький пенис и съесть, чтобы забеременеть мальчиком. И вот. Мать ходила, давилась причиндалом из гипса... А родилась я.

Дзин-н-нь! Мы выпили.

– Слушай, а вот этот храм... Там же давно все мальчики должны быть с отломанным хозяйством, если женщины туда веками ходят за сыновьями?

– О нет, там есть хранитель. Это его работа, передается от отца к сыну.

Я уронила окружающий мир с крыши и перенеслась в белое нигде, будто кто-то натянул внутри моей головы простыню и проецировал на нее кино, начинающееся со слов: «Давным-давно в далекой галактике, жил человек, чья работа заключалась в восстановлении откушенных членов гипсовых мальчиков в храме». Подумать только, где-то там, на китайском острове, прямо сейчас происходит невообразимое, нелепое чудо. Живет человек, занят странным, экстравагантным искусством на службе у ритуала – ежедневно лепит маленькие церемониальные пенисы и приклеивает их барельефным мальчикам на место съеденных... Как выглядит такая жизнь? Каково это – быть им?

– ...он еще роспись обновляет в храме, – продолжала тем временем Принцесса, – пишет на талисманах защитные иероглифы. Папа водил меня к нему – брать первые уроки каллиграфии.

– Ты каллиграф?

– Нет. Но я изучала каллиграфию десять лет. В школе я подрабатывала в том храме, расписывая охранные амулеты на двери.

– Боже... А я в школе подрабатывала на летних археологических экспедициях – рисовала на миллиметровке скелеты в могилах и все добро для загробной жизни, которое им туда положили.

– Круто! А меня летом отправляли к дедушке на озеро. Я помогала ему ловить рыбу бакланами. Тоже работа.

– Это как?

– Там хитрость. Дедушка перевязывал соломинками бакланам шеи: дышать, пить и глотать маленькую рыбу они могут, а вот большую – нет. Птицы ныряли за рыбой и крупную приносили в клювах дедушке в лодку, а я давала им мелкую взамен. Тоже круто, скажи?

– Не могу! У меня опять в голове кино про твою невероятную жизнь.

* * *

Мы заходились от жадности узнавания друг друга. Я бесконечно любовалась ею, и лишь отчасти под воздействием вина. В ней было все, что очаровывает меня в людях – красота, мрачное чувство юмора, капризное разнообразие интересов, причудливые тайники и жаба в коленке. Если бы она сказала, что она – принцесса лунного королевства, где нет смерти, время течет вспять, а люди живут в висячих замках из метеоритов и летают как птицы, я бы ей поверила – настолько диковинным казался мне ее мир.

Она училась тайцзы у отца под каменным взором полуразрушенных будд и изучала каллиграфию у хранителя храма под присмотром гипсовых мальчиков с распахнутыми ширинками. Принцесса с детства была окружена такими хитроумными выдумками, как рыбалка с бакланами. Или, скажем, родители не разрешали ей смотреть телевизор. Они допоздна пропадали на работе, но отец хотел, чтоб она делала уроки, а не смотрела мангу после школы, поэтому каждый день он оставлял ей телеловушки: то нитку протянет к чашке на комод; то пульт положит на верхнюю полку шкафа, а потом сличает пятна от пыли; то завесит экран вязанной салфеткой, а сверху выложит скульптуру из камней, опасно балансирующих друг на друге... Наученная разбитой чашкой, Принцесса часами тренировалась в балансировке камней, чтобы «расчехлить» экран, а потом вернуть их в ту же композицию.

Ловушки научили ее внимательно изучать все предметы в комнате, сканировать пространство на наличие нитей, пружин и прочих тайн. К девяти годам она наловчилась разбирать и собирать ловушки обратно, но наблюдательность и интерес к причудливым изобретениям остались с ней на всю жизнь.

Она получила престижное дизайнерское образование в Нью-Йорке и работала в шанхайском «Эппл», пока не закончился контракт и некая несчастная любовь, от которой она восстанавливалась здесь, в резиденции. Я попыталась выяснить у нее, в каком качестве она здесь, в чем заключается ее проект?

– Я дизайнер.

– Графический?

– Нет, вообще. Дизайнер в классическом смысле.

– Это как? Я себе классический смысл представляю так: «Нам нужен стул, он должен как-то выглядеть и быть из чего-то сделан. Позовите дизайнера!» Или «Вот информация, ее нужно как-то подать на бумаге или в сети – позовите дизайнера!» Или, скажем, одежда... Дизайном чего ты занимаешься?

– Объектов, коммуникаций, личного опыта...

– Еще скажи, что ты архитектор реальности.

– А, – засмеялась Принцесса, – ты пообщалась с мистером Ёном. И как оно?

– Ну... не переварила еще. Но похоже, расстроилась, что я – *не* архитектор реальности.

– Не «инженер переживаний»? Он еще так любит говорить: «Художник – инженер переживаний!»

– Не он.

– Не «генератор смыслов»?

– Не все эти люди, короче.

– А кто ты?

– Да скучный человек, ничтожество. Просто рисую картинки. Ну а ты чем ты занимаешься?

– Я архитектор реальности и инженер переживаний.

Мы зашлись пьяным смехом.

* * *

Принцесса всячески юлила, когда дело доходило до рода ее занятий:

– Знаешь, я потому и не хожу ни на какие сборища – не люблю, когда меня как-то определяют...

– Ты не ходишь на местные тусовки?

Принцесса закатила глаза.

– Я не знала, что так можно!

– Да, я знаю, я – официально дурное влияние. Но там же в первую очередь спросят, так а чем ты занимаешься? И будут пытаться прищипить, вот как ты сейчас. А я буду мычать и увиливать. Придется произносить идиотские фразы про «междисциплинарное взаимодействие» и «экспериментальный синтез технологии и культуры»... О-ай, нет!

Это была веская причина. Мне были хорошо знакомы и попытка самоидентификацией на светских раутах, и ошпаривающий стыд за то, что у тебя изо рта только что вылезла фраза «В своем творчестве я часто опираюсь на межкультурные контрасты». Однако чем занималась Шанхайская Принцесса все равно оставалось тайной. Я пошла в обход:

– А покажешь мне свою каллиграфию? У тебя есть что-нибудь в студии?

– Я не покажу тебе свою студию, успокойся.

Но мне нравилось, что она такая скрытная. Вернее, скрытной она не была. Я не знаю, о чем мы не поговорили за эту ночь – было все, от сплетен до устройства человеческих душ в иудаизме и даосизме. Но как только дело доходило до нее самой, она захлопывалась, как венераина мухоловка, – лишь бы избежать какого-либо определения. Она даже имя свое отказывалась называть, только перевод.

– Ну и как мне тебя называть? Осеннее Затмение? Ты серьезно?

– Никак и не называй. Здесь больше никого нет – я знаю, что ты обращаешься ко мне.

– Ну и ладно. Про себя я все равно зову тебя иначе.

– И как?

– Шанхайская Принцесса.

– ...мне не нравится.

– Почему?

– Звучит так, будто я одета в школьное платье и кружевные гольфы и рыдаю над огромным плюшевым медведем.

– А как тебе нравится?

– Ну не знаю! Крутейшая в мире персона?

– Надо поработать над неймингом.

Но ей тайно льстило имя Принцессы, и она осталась ею.

* * *

В баре давно никого не осталось. Музыка смолкла несколько часов назад, но снизу поднимался неунывающий гул ночной шанхайской жизни. Мы просидели на крыше до рассвета, и на нас навалилось молчаливое нежелание идти спать, как бывает, когда точка невозврата пройдена. На крыше собралась группа занятий йогой. Люди замирали в красивых позах, как армия гибких статуй, на фоне еле заметных в утренней дымке небоскребов, будто молились телевизшке. Мы молча смотрели, как другие начинают день, который мы проспим.

Не знаю, о чем думала Принцесса, но я грустила оттого, что волшебство этой ночи никогда не повторится. Такое погружение возможно только с незнакомым человеком, и только в первый раз.

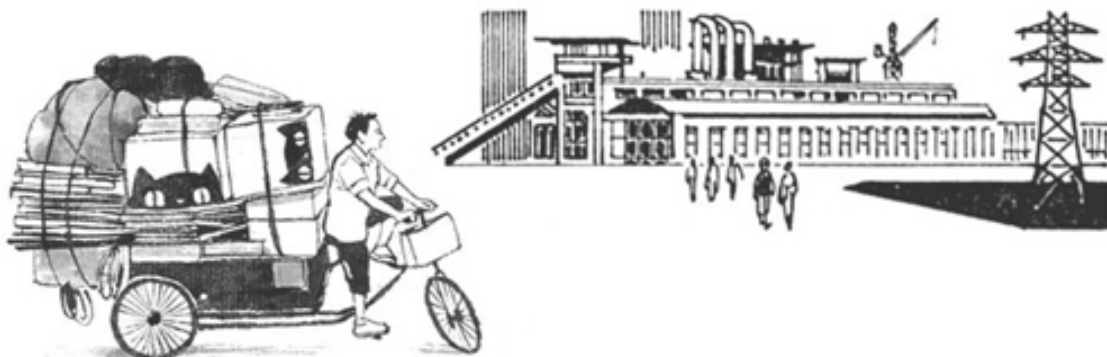
– Не знаю, о чем ты думаешь, – произнесла Принцесса, – но такое возможно только между драконами. И лишь однажды.

– Я знаю.

– Хочешь, как выспимся, посмотреть мою студию?

6

Роняя вазу династии Хань



Меня разбудил звонок Шанхайской Принцессы. Я ответила нарочито бодрым голосом, как человек, который проспал все на свете.

– Ты что, спишь? – сдавленным шепотом спросила Принцесса.

– Не-е-е-ет, что ты. Я не сплю! Как дела?

Никогда не могла этого понять – чем бодрее я отвечаю, тем быстрее собеседник вычисляет, что он меня разбудил.

– Ясно, спишь. Вставай и иди скорей сюда. Ретроспектива уже началась!

– О господи...

Я мысленно заметалась. Точно! Ретроспектива же. Не хватало пропустить еще одну встречу с куратором.

– А... м-м-м... что... где это?

– На втором этаже.

– В смысле, куда надо ехать? Пришли мне адрес или что...

– Да в нашей гостинице, в галерее на втором этаже! Я сейчас поднимусь за тобой.

Я едва успела кое-как почистить зубы, натянуть джинсы и футболку, как она появилась на пороге моей студии. Принцесса выглядела так, будто готовилась к этой встрече две недели, а я выглядела, как человек со следами подушки на лице.

* * *

В галерее на втором этаже, где, как выяснилось, проводились все местные мероприятия, было темно и шел фильм. Мистер Ын сидел за столиком с проектором, скрестив руки на груди и втянув голову в жабо из подбородков. Я виновато улыбнулась и помахала ему, стараясь вложить в этот жест длинные объяснения про злополучную дверь в прачечной, глубокие сожаления о пропущенном ужине и искренние извинения за опоздание. Мистер Ын кивнул, словно все понял, но не одобрил.

Зал был полон. Люди сидели небольшими группами за столиками с угощениями и бокалами. За одним из столиков я узнала наших и двинулась к нему, но Принцесса взяла меня за руку и отвела к рядам «на галерке». Два стула с краю были свободны. На одном из них Принцесса оставила свой айфон, а на другом...

кофе из Старбакс! Спросонья я не поверила своим глазам. Я все еще не привыкла к тому, что кофе – не китайский напиток и не продается на каждом углу, как обычно. А тут – целый огромный Старбакс с моим именем на стакане.

– О-о-о-о... – сказала я. – Ты святая!

– Ты такая европейка, – усмехнулась Принцесса, явно довольная собой.

Я сделала несколько глотков. Внешний мир стал просыпаться вместе со мной и обрастать деталями: Стив снял руку с плеча Минни Маус, откинулся на стуле за ее спиной и пристально смотрел в нашу сторону. Хесус и Леон сидели по обе руки от галеристки с «розового» мероприятия, поочередно нашептывая ей что-то в отягощенные огромными серьгами уши. На сей раз она пришла без Уорхола. За козырным столиком, расположенном ближе всего к экрану, на мягких диванах сидели, вероятно, VIP-персоны и личные друзья куратора. Они пристально смотрели на экран, втянув головы в плечи, как нахохлившись грифы, и, казалось, проникали в суть китайского современного искусства кому-то назло.

Я тоже желала проникнуть в суть и сосредоточилась. На экране художник остервенело швырял кота по комнате. Согласно скупому закадровому комментарию, искусство называлось «Метание кота» и длилось сорок пять минут. Сокращенная нарезка кадров отличалась только состоянием кота. В начале он был рыжим, но по мере того, как художник продолжал неистово лупить им по залитым кровью полу и стенам, кот превращался в фарш. Видео называлось «Я ничего не прошу», указывалось на финальном кадре с копирайтом.

– Лучше бы попросил, – прошептала Принцесса.

Я подавлено молчала.

Затем на экране появился ухоженный и изрядно повзрослевший автор «Метания кота». Он сидел на диване в расслабленной позе, закинув ногу на ногу, курил и внимал вопросу женщины по другую сторону камеры:

– В интервью вы давали три разных объяснения этому проекту. Однажды вы сказали, что вам просто стало скучно и вы спонтанно пошли на рынок и купили кота. В другой раз – что планировали эту работу год и не несете ответственности за смерть кота. А в третий раз сказали, что в этот день вы чувствовали острое сексуальное возбуждение и хотели выпустить напряжение... Поэтому пошли на рынок и купили кота... И... Я не уверена... Хотите рассказать об этом? Эм-м-м...

Художник дослушал вопрос, как замедляющуюся пластинку, пока собеседница окончательно не потерялась, затем посмотрел в потолок, будто там написаны подсказки про кота, и сказал: «Важно не то, что я говорю, а то, в каком расположении духа я это делаю. Когда я думаю о том, в каком состоянии я создавал котовбросательный перформанс, то чувствую, что был искренним во всех трех утверждениях. Для меня это целостный процесс. Объективно говоря, я действительно потратил на эту работу много времени... – он говорил спокойно, не стесняясь задумчивых пауз и помогая себе руками, словно вытаскивал слова изо рта. – Люди игнорируют контекст. Представьте, что вам двадцать лет в ту эпоху, на стыке веков... У вас ни денег, ни возможностей, ни места для занятий искусством. Сейчас я создаю работы ежедневно, но в то божественное время требовалось много времени и усилий, чтобы создать хоть одну. Это действительно заняло полтора, а может, два года... Надо было собрать друзей, чтобы снимали фото и видео, найти место...»

Я покосилась на публику – оценить, насколько ее впечатлил масштаб усилий, но все нацепили pokerные лица.

«...Когда я закончил работу, меня немного трясло... – продолжал тем временем художник, поправляя очки. – Знаете, молодые художники не воплощают проекты. Они только говорят о том, что хотели бы сделать. Мол, я хочу сделать вот такое... И все вокруг – о да, о это так дерзко! А я взял и сделал. И даже сегодня эта работа содержит много важных для меня

качеств: прямота, сексуальный подтекст, мощь и притягательность. Эти черты присущи моим работам по сей день...»

Интервьюера почему-то удовлетворил этот ответ, и она перешла к следующему проекту. Последовал отрывок из видео, в котором художник дрочил собаке, перекрашенной в панду.

– Что вдохновило вас на эту работу? – спросил все тот же робкий женский голос.

Художник слегка улыбнулся и посмотрел вдаль, подернутую воспоминаниями:

– Однажды я увидел по телеку женщину, которая одела свою собаку в костюм панды. И я подумал... а как я могу превратить это в искусство?! И вот мы собрались – нас было несколько в этом проекте, человек пять – и попытались воссоздать атмосферу японского порно, на котором все мы выросли. Если вы посмотрите фильмы того времени... Несколько мужчин в комнате, у всех хорошее настроение... Это очень хорошая атмосфера...

– М-м-м... А когда вы помогали собаке эякулировать, было ли это насилием? Чувствовал ли пес себя использованным? Оскорбленным?

– Оскорбленным? Нет! – удивился художник. – Он чувствовал себя счастливым!

Я снова покосилась на публику. У всех были задумчивые, одухотворенные лица. Гости улыбались, перешептывались, отпивали из бокалов. Леон буквально впился в ухо галеристке, та тихо смеялась. В общем, люди вели себя так, будто все идет как надо. Не то чтобы я ожидала обнаружить в зале защитников прав животных, но, признаться, меня сильно озадачивало само интервью. Либо окружающие уже владели эзотерическим знанием о природе совриска и подоплека этих диких выходов была им ясна даже из невразумительных вопросов и ответов, либо все, как и я, притворялись, что происходящее имеет смысл.

Тем временем на экране художник с соратниками в горном снаряжении отпиливал пик Эвереста. Объяснял он свои действия так: «Это самая высокая гора, предмет нашей гордости. Мы хотели узнать, пострадает ли гордость, если его спилить? Также горный пик представляет собой ложное чувство постоянства, но в жизни нельзя ни на что опереться. И поэтому мы хотели его разрушить».

«Команда смертельно устала, – с коммунистическим задором комментировал закадровый голос утомительные действия людей в вихре распиливаемого льда, – но тяжкий труд в условиях огромной высоты не сломил их воли и решимости спилить вершину горы!» В конце концов отпиленный горный пик поселился в стеклянном шкафу на биеннале, лишая посетителей гордости и уверенности в завтрашнем дне. Ну, тут хотя бы все ясно. Очередное проклятие.

Художник исполнил еще много «насмешливых, парадоксальных и дерзких» проектов, прежде чем остепенился и совершил квантовый скачок из вздорного шута прямо в генеральные директора компании по производству современного искусства в фабричных объемах. Теперь он производил степенное и масштабное искусство, не лишённое красоты, вкуса и остроумия, и невольно возникал вопрос... Вернее, ответ на вопрос «Как становятся большим и признанным современным художником?» Например, так. Путь не близок, и куда бы ты ни шел, всюду за тобой ключьями волочится призрак истерзанного кота.

– Мы можем уйти? – спросила я у Принцессы. Она переписывалась с кем-то в вичате на китайском и не выглядела слишком увлеченной происходящим в зале.

– Нет. Мистер Ын показывает некоторые перформансы из личной коллекции. Было бы невежливым уйти посередине того, как он демонстрирует нам свою страсть... Тебе плохо?

– Я в порядке.

Я не была в порядке. Я чувствовала, что происходит какое-то мощное крушение. Будто внутри разбилось что-то огромное и хрустальное, но мне об этом не сообщили. Неведомая внутренняя поломка обесточила все мысли, кроме кота, который бился в моем мозгу, как неупокоенная душа. Я же хотела знать, как живут свободные художники? Но нет, это просто случайная судьба одного человека (и кота), ничего не значит. Или значит? Насколько это типично? В любом случае, разум отказывался обрабатывать эту информацию. Верным призна-

ком этого была внезапная сонливость, моя типичная реакция: «в любой непонятной ситуации ложитесь спать». Я допила забытый кофе и без единой мысли уставилась на экран.

* * *

С момента приезда в Шанхай мне не снилось ни одного сна. Это потому что все они происходили наяву. Ретроспектива китайского совриска тоже выглядела так, будто сон и явь поменялись местами. Куратор ставил все новые и новые ролики, сопровождая их скучным фактами (название, автор, год создания) и кратким артспиком. Мне снилось, как:

Разные люди говорят в камеру «Я умру» (*«экзистенциальный комментарий о благородстве человеческого сознания»*) – прокомментировал мистер Ын).

Голый художник катается на велосипеде по дну маленького бассейна. Велосипед оборудован седлом и лошадиной головой.

Женщина в метро обдирает губы на протяжении двадцати минут.

Игрушечные пингвины бесконечно поднимаются по ступенькам и съезжают с горки.

Человек почесывается. Искусство называется «Сомнительное удовольствие».

Художник рисует метлой и голой женщиной (*«рассматривает полотно как место суровой абстрактной драмы»*).

Люди смотрят и фотографируют, как за оградкой спариваются две племенные свиньи: мужская особь расписана английскими словами, а женская – китайскими иероглифами (*«притча о культурном осеменении»*).

Художник шупает сырое мясо (*«являет косной общественности откровенную икону чувственности»*).

Художник устраивает взрывы. Черные клубы дыма называются «эфемерной скульптурой».

Художница тряпкой отмывает глыбы замороженной воды из реки Чэнду (*«актуальное экологическое высказывание»*).

Художники в белых саванах, словно живые мертвецы, ложатся на рельсы, заносят над собою ножи и суют головы в петли (*«время такое было»*).

Художник торгует креветками.

Художник моет ноги в тазике с изображением Рональда Рейгана (*«художник моет ноги»*).

Художник сидит на груди яиц.

Художник переодевается девушкой (очень красивой), мастурбирует и пьет свою сперму.

Голый художник гуляет по Великой Китайской стене.

Голого художника погребают заживо. Он дышит через трубочку.

Голый художник плавает в прозрачной надувной сфере по реке Янцзы.

Измазанный рыбьим жиром и медом художник (голый, конечно) час неподвижно сидит в душном и вонючем общественном туалете. На кадрах – красивый и липкий молодой человек, засиженный мухами. (*Трактовки расходятся от «буддистской медитации во дворце небытия» до «провокационного комментария о грязных общественных туалетах»*).

Художник лежит под пекинской эстакадой с полным ртом земляных червей (*«отмечает свой день рождения»*).

Художник надевает костюм из сырого мяса и идет сквозь нью-йоркскую толпу, раздавая людям белых голубей. Люди с опаской берут птиц у красного мясного Халка. Седой мужчина на перекрестке долго отказывается, но художник настаивает. Голубь улетает, едва коснувшись нерешительных старческих рук.

Художник, подвешенный краном за щиколотки, кромсает реку ножом.

Художник час паялится на тысячеваттные прожекторы.

Художник выпивает тридцать восемь стаканов воды на спор.

Художник хирургическим путем прячет в собственном теле предметы (*«преобразует наш взгляд на человеческую анатомию»*).

Длинноволосый художник в смокинге и с букетом совершает свадебный обряд с нарядным, нарумяненным белым ишаком в черных чулках и шляпе с розовой фатой.

Художник взаимодействует с живыми курами – засовывает их в себя, испражняется на них и кромсает их в хлам.

Пара художников переливает собственную кровь во рты мертвых сиамских младенцев.

Голый художник вылезает из живота мертвого буйвола, обложенного розовыми лепестками.

Художник сидит в чане с соевым соусом на огне и борется со связанной свиньей, пока не убивает ее.

Художник ест эмбрион на камеру. Искусство называется «Поедание людей» (*«и является жестом протеста против беспочвенного запрета на каннибализм»*).

Художник приглашает двадцать пять человек и велит им проголосовать: стоит ли ему вырезать из собственного тела ребро или в этом нет смысла? Двенадцать человек проголосовали за, десять – против, и трое загадочно воздержались. После чего художник без анестезии выпотрошил из себя ребро и сделал из него ожерелье на шею (*«подчеркнул напряжение между индивидом и государством и сделал ясное политическое заявление»*).

* * *

– Как ты себя чувствуешь? – шепотом поинтересовалась Принцесса.

– Униженно.

Принцесса кивнула. Я была благодарна ей за то, что она не допытывалась, чем именно, потому что и сама толком не понимала. Это точно были не члены, нелепые выходки и надругательство над курами, а скорее смутное ощущение обмана – будто мне наврали в лицо, а я сглотнула.

Я оглядела зал. Почему никто не задает очевидных вопросов? Не называет вещи своими именами? Не смеется? Или хотя бы не плачет? Каким образом ощупывание сырого мяса является «откровенной иконой чувственности»? Как убийство кота способствует снятию сексуального напряжения? С каких пор запрет на каннибализм стал «беспочвенным»?

Во всем этом не хватало важной составляющей – смысла. Вроде бы все на месте: вот на экране искусство, а вот куратор, который говорит о нем. Но арт-спик и видеоряд не совпадали. Вернее, они работали как две параллельные атаки на органы чувств: глаза видят мракобесие, а уши слышат заклинания, никак не связанные между собой. Будто все мы заперты в коллективной гипнобудке и испытываем на себе эффект розового гипноза.

Если убрать аудиоряд, то представшие глазам кадры не выглядели как искусство. Они смотрелись как тревожный новостной репортаж из очага чудовищной эпидемии безумия, вызванной утечкой токсичных мутагенов. И наоборот: если убрать зрительный ряд, то вряд ли кто-то, услышав словосочетание «напряжение между индивидом и государством», вообразил бы, как человек выпиливает из себя ребро? Или в этом и заключались «дикий кульбит фантазии» и «способность настоящего художника заглянуть за грань», о которых говорил мистер Ын в нашу первую встречу?

Все во мне противилось этой мысли. Полный зал людей, у которых накопилось много вопросов к розовому цвету, казался мне невинной забавой по сравнению с публикой, что и бровью не повела при виде ожерелья из ребра как «ясного политического заявления». Почему ясного, когда совсем не ясного? Разве, принимая такие вещи на веру, человек не становится чуть глупее и внушаемей? Где-то здесь и крылось унижение – не в шоке от сенсационного искусства, а в том, что мне скармливалась слепая вера в то, что копрофагия является «кри-

тическим высказыванием о всеядном консюмеризме», а умирающая креветка выражает «эпистемологический скепсис».

Я вспомнила, как удивилась тогда, на кухне, когда Леон обозвал питье из пластикового стаканчика «художественным жестом». Какой путь надо пройти, чтобы на голубом глазу назвать выкармливание мертвого эмбриона кровью «интимным соображением духовного плана за пределами материального мира»? Я подозревала, что если посещу достаточно выставок и биеннале, то и сама начну произносить подобные проклятья на сложных щах. И в следующий раз, как услышу, что заляпанный спермой холст являет собой «эйдетическую топографию внутреннего мира», нерешительно выжду – не расхохочется ли собеседник? И если нет, то почувствую себя немного безумней, а со временем и вовсе разучусь доверять своим глазам, ослепну и перестану смеяться над нелепым мумбо-юмбо или плакать над униженной Венерой. Как сейчас никто не смеется и не плачет. Бежать! Скорей все бросить и бежать!

* * *

На экране шел отупляюще занудный перформанс про то, как руки в перчатках разбивают зеркало, а потом тщательно склеивают осколки обратно. Мне вспомнилось, как Дюшан хвалил подобные выступления во вчерашней книжке про акционизм: «Я обожаю хеппенинги! Это всегда изумительно. Их успех связан с тем, что они представляют зрителям скучное действо. Это потрясающая идея – использовать скуку, чтобы привлечь публику. Зрители приходят на хеппенинг не для того, чтобы чем-то воодушевиться, а чтобы поскучать».

Ну, в чем-то он был прав. Все заскучали. Куратор пересел на диван к грифам и увяз в дружеской беседе. Зал потихоньку оттаивал. Гул нарастал, люди перемещались группами, подсаживались за столики и обменивались планами на вечер – куда пойти ужинать и какое еще культурное событие посетить. Сколько Прекрасного способны вместить в себя эти люди?

Я надеялась, что ретроспектива наконец, закончилась. Однако никто из художников не сдвинулся с места. Все прилежно смотрели, как чувак долго и нудно склеивает зеркало, время от времени поглядывая на VIP-столик.

– Он его склеит? – с надеждой спросила я Принцессу.

– Да.

– Это хорошо.

...

– А когда?

– Минут через сорок.

...

– То есть минут через сорок мы можем слинять, не проявив неуважения?

– Нет.

– Почему?

– Он его снова разобьет.

– Что?!

– Перформанс длится три часа. Автор снял его, чтобы испытать терпение художественной среды.

Я насупилась и приготовилась к трехчасовой пытке во имя вежливости.

– Ты бы видела свое лицо! – засмеялась Принцесса. – Мистер Ын всегда в конце ставит длинный фильм, чтобы люди могли пообщаться и спокойно разойтись.

– Господи, тогда пойдем! Я умираю с голоду.

– Только прощаемся.

Принцесса направилась в кубло, окружившее куратора, и я поплелась за ней. Она ловко лавировала в толчее (жизненно-важный шанхайский навык), умудряясь при этом никому не

смотреть в глаза, чтобы не увязнуть в случайной беседе. Стив даже окликнул ее (как еще объяснить крики «Затмение! Затмение!» в сумрачном зале), но Принцесса то ли не расслышала, то ли притворилась глухой, а я слишком хотела уйти, чтобы разбираться.

Добравшись до мистера Ына, Принцесса бойко заговорила с ним на китайском, время от времени оборачиваясь ко мне в поисках согласия. Для меня их диалог звучал так же, как беседа со скрипачами:

– Нос книги! Как вермишельная шерсть, только тоска через один.

– А стебель нищего духом?

– Аха-ха-ха, но ковер из мяса инопланетян не ласкает банковской тайны, я осколок!

Я лишь кивала, что бы она ни говорила, смеялась вместе с куратором и ничуть не чувствовала себя глупо. Глупее, чем последние несколько часов, почувствовать себя было просто невозможно.

* * *

У Принцессы были какие-то дела, но мы договорились пропустить по стаканчику на крыше позже вечером. Я вернулась в студию и слегла созерцать потолок.

Есть такая восточная легенда. Некий принц попал в плен к врагам, но был он так роскошен собою и великолепен умом, что по законам вражеской страны его нельзя было тупо казнить. А казнить надо. Тогда палач изобрел для него изощренную кару: принц сидел в дивном, но замкнутом пространстве, наслаждался девушками, винами, яствами и прочими увеселениями, но все по расписанию. А палач ежедневно чуть-чуть сжимал это расписание по времени. В итоге у парня сутки длились три часа, но ему все казалось нормальным, шикарным даже. Прошло совсем немного лет. Парень вышел из плена – бах! – а он глубокий старик. Ретроспектива длилась где-то около трех часов, а я чувствовала себя состарившейся, как тот принц.

Я вышла в пельменную и супермаркет, купила вина на вечер. По дороге назад я заметила мастера кунг-фу и замедлила шаг. Он шкандыбал к лавочке, опираясь на клюку. Потом сел и осторожно достал откуда-то из подмышки лохматую собачонку декоративной породы – из тех, что имеют жалостливый вид нежизнеспособного, умоляющего о заботе существа. Затем извлек из кармана пижамы четыре миниатюрных ботинка и стал непослушными пальцами завязывать шнурки на крошечных лапах. Я присела на край скамейки.

Мастер кунг-фу узнал меня и улыбнулся. Я переполнилась неожиданным восторгом от такого прогресса в наших отношениях. Наученная клюкой, я не стала предлагать ему помощь со шнурками и притворилась, что рассматриваю толпу. Толпа рассматривала меня в ответ – вокруг нас собрались зрители, как в прошлый раз, и ловили на телефоны кадр «Мудрый седобородый старец с собачкой и пустоголовая лаовай с бутылкой вина на скамейке в Шанхае». Я отвела взгляд от камер и притворилась, что рассматриваю собачку.

У мастера кунг-фу никак не ладился третий ботинок. Его подводили то пальцы, то зрение, то сама дерганная собачка, и он все не мог продеть шнурок, куда положено. Ботинок упал. Старик закричал, согнувшись и высматривая его. Рискую получить клюкой по спине, я юркнула под скамейку, добыла пропажу и вопросительно уставилась на мастера кунг-фу – мол, можно ли помочь? Он ответил что-то на китайском, возможно «экзальтированная нога» или «ирокез вселенной курит полиэтилен». Я наугад кивнула. Он изъяс из тапка свою потрескавшуюся, мозолистую пятку и предъявил ее мне. Потом топнул по грубому асфальту и скорбно воздел густые белые брови, поглаживая нежные, полупрозрачные подушечки собачьей лапы. Я закивала уже с пониманием и придвинулась на тестовое расстояние, потянувшись ботинком к непокорной задней ноге. Старик махнул рукой, и я осторожно, будто свершаю проект века, под щелканье камер и вспышек надела собачонке оставшиеся два ботинка и завязала шнурки.

На ощупь башмачки были мягкими, как бархат, и сделаны – я с удивлением присмотрелась – из змеиной кожи.

– Шеше, шеше... – повторял старик единственное слово, которое я знала.

– The pleasure is all mine, – я встала и поклонилась, прижав руки к сердцу в качестве перевода.

Он опустил собачонку на землю, и та резво потопала змеиными башмаками вглубь толпы, натягивая поводок. Прежде, чем уйти, мастер кунг-фу порылся в сумке, выкопал маленькую пластиковую бутылку, ярко раскрашенную под психоделического мопса, и вручил мне.

Черт... Все-таки трэш-художник!

* * *

– Ну и что ты думаешь о местных художниках?... Только честно? – спросила Принцесса, когда мы уселись за «наш» столик на крыше и хлопнули по первому бокалу.

Я открыла рот – и закрыла его. Внутри моей головы молниеносно пронесся какой-то дикий карнавал проклятых, где Энди Уорхол рикшей катал по городу заткнутых кляпами оперных певцов в розовых гипнобудках, висцеральные концептуалисты оскверняли суицидальную кровать, злые уборщицы метлами крушили музей современного искусства под зомбо-музыку, самоубийцы превращались в написанный ананасовым карандашом текст и забирались внутрь тигров, а манга-медведь поливал томатным супом униженную Венеру.

– Я не знаю. Трудно сказать...

Принцесса терпеливо ждала подробностей.

– Если честно, тут требуется предыстория.

Принцесса была согласна на предысторию.

– Я выросла в странном, сказочном мире, – начала я. – За вычетом бесконечных болезней, я провела детство на улице с дворовыми друзьями. За пятиэтажкой, в которой мы жили, была небольшая посадка, которая тогда нам казалась дремучим лесом. В посадке водились эксгибиционисты и люди с фотоаппаратами, которые по непонятным причинам кормили нас дефицитными в ту пору конфетами за возможность сфотографировать наши трусы. Сразу за посадкой протекала Красная река, действительно красная от заводских отходов. Она впадала в другую, нормальную реку красивыми алыми разводами. Там, на месте слияния рек, располагался нудистский пляж. По нему гуляли голые пунцовые люди. За красной речкой был парк, а над ним, на холме – городской морг. Зимой мы катались там с горки на санках, а летом играли в прятки у морга, пилились на сюрреалистичных малиновых нудистов, ловили шмелей в парке, лазали по деревьям и травили, сидя на ветках, страшилки про красную руку маньяка, выловленную рыбаками в Красной реке. С ядовитым перстнем на пальце.

– Похоже на бардо.

– Что?

– Тибетское бардо. Это такой буддийский загробный Диснейленд с призраками, куда попадает душа с момента смерти и до следующего воплощения. Пограничное состояние между жизнью и смертью. Там, конечно, нет ничего из того, что ты описываешь, но можно провести параллели: кровавые реки с купающимися в них грешниками – это твои нудисты. Мрачные, пожираемые адским пламенем демоны – надо полагать, эксгибиционисты. Голодные призраки – охотники за детской порнографией... И все это по пути в морг, то есть – в небытие.

– Да-да, очень похоже. И чем там занята душа, в этом загробном Диснейленде?

– Она должна пройти по нему в Буддаленд, чтобы избежать дальнейшего воплощения и уберечься от разверстой матки. У маток по такому случаю – день открытых дверей. Аж сорок девять дней после смерти человека, если точно. Матки очень хотят снова вобрать в себя душу для дальнейшей жизни.

– Да-да, я знаю, матки такие. У меня трое незапланированных детей.

– Трое детей! И как оно?

– Ну... ты не отвлекайся, что с душой?

– А! И вот. Чтобы избежать воплощения, душа должна пройти кучу обманных ловушек и не поддаться ни одному наваждению. Я точно не помню... Там несколько бардо, одно страшней другого, но все они – иллюзорные порождения ума, не настоящие.

– Ну например?

– Например, в последнем бардо повелители смерти волокут покойного на веревке за шею, отрезают ему голову, вырывают сердце, выпускают кишки, лижут мозг, пьют кровь, поедают плоть и обглаживают кости.

– Да-да, понимаю, о чем ты... Мы сегодня видели много такого на ретроспективе.

– Ага, – кивнула Принцесса. – И в этот момент особо полезно знать, что в бардо тело соткано из обмана, а повелители смерти тоже рождены лучезарным разумом жертвы.

– Потрясающе излагаешь. И чем все заканчивается?

– Если умерший поверит в наваждение и не распознает трюков собственного ума, то увы, снова угодит в матку. Сначала он увидит перед собой бесчисленные пары, занятые в этот момент сексом, – Принцесса обвела рукой ночное небо, будто созерцала эти пары прямо сейчас, – а затем – стройные ряды голодных маток, готовых его принять. Ну а если не поведется ни на какие иллюзорные ужасы и соблазны, то растворится в вечной нирване Буддаленда.

– Удивительно. То есть пока религии мира обслуживают человеческий страх смерти заверениями в том, что жизнь продолжится за гробом, вы тут заняты прямо противоположным: успокаиваете человека, что вот, мол, отмучался, и даст Будда – на этом все!

– Типа того... – Принцесса улыбалась так, словно она лично и успокаивает весь китайский народ. – Итак, ты выросла в тибетском бардо. Продолжай про художников!

– Итак, я выросла в тибетском бардо, представь. Я постоянно испытывала недоумение перед миром и тем, как витиевато все в нем устроено. Вот, скажем, ты собираешь в посадке каштаны для поделок в садике, а из-за дерева выходит угрюмый человек и распахивает перед тобой плащ. Что думать? Я научилась просто принимать, что так бывает, и это – часть мира. Или, например, сердитая усатая воспитательница в детском саду ставила на подоконник тех, кто не спал в тихий час. Как это понимать? Я понимала так: мир скроен на эдакий манер, что если кто не спит в тихий час, то он стоит на подоконнике без трусов. Воспринимала как данность. Так есть, и все тут. А эти люди с фотоаппаратами в посадке? Часто это бывали пары – муж и жена, парень и девушка или даже дети чуть постарше нас. Очень дружелюбные, к тому же с конфетами. Играли с нами в прятки, прыгали через погреб... Что? Ну, погреб – это такие глубокие ямы, где люди хранят картошку. Не спрашивай... И вот они фотографировали, как мы играем, залезаем на деревья, сидим на корточках. Давали конфету и просили поднять платье, «чтоб было видно трусы». Все это ласково – мол, если стесняешься, встань спиной.

А теперь подними юбочку! Приспусти трусики. А если три конфеты? Вон смотри – твоя подружка только что сфотографировалась и уже ест конфеты! На всех может и не хватить... И ты вроде понимаешь, что делаешь что-то плохое. Но ведь как работает детская мысль? Да и взрослая, если уж на то пошло: либо ты плохой человек и делаешь что-то очень нехорошее, либо... это нормально. И тогда единственный способ доказать, что это нормально, – продолжать это делать. Мы и фотографировались. Странно, конечно.

Но не более, чем говорящий волк в сказке. Наверное, так надо – думали мы. Я хочу сказать, что знала лишь один способ обработать мир – принимать к сведению, что в нем есть бледные люди в плащах, бусы из рябины, морг, трамваи, люди с фотоаппаратами, бадминтон, шмели, скучные новости по телевизору, одуванчики, говорящий волк, красные нудисты, конфеты, ядовитые перстни, компот и страшная усатая воспитательница. Мир вливался в меня одним сплошным потоком, не разделяясь на хорошее и плохое, реальное и выдуманное. И был

слишком странным, чтобы всякий раз задаваться вопросом: «А это нормально или нет?» Я просто замечала: бывает и так. Часть бардо.

Принцесса слушала, почти не перебивая и неотрывно глядя мне в глаза. Я знала этот взгляд – тайная радость узнавания, когда собеседник вдруг из-за случайного внутреннего сбоя или, скажем, парада планет вдруг роняет свою социальную маску, скроенную из разговоров о погоде и прочей светской чепухи, и раскрывается, как соцветие ночных флоксов. Я почувствовала к ней родственную нежность. Мне тоже нравилось слушать людей без маски.

Принцесса освежила бокалы, стянула одну из моих сигарет и кивнула:

– Часть бардо.

– Да. Вот и с этим миром современных художников – то же самое. Я не знаю, как устроено это бардо. Но оно явно загробное – тут играет зомбо-музыка и скармливают тиграм предсмертные мысли самоубийц...

– А еще у тебя в номере телефона шесть четверок...

– Именно. Я в загробном мире! Что если после смерти человек попадает не в ад или рай, и даже не в лимбо, а в современное искусство? Господи, это было бы ужасно...

Принцесса рассмеялась:

– Ну, в целом мне ясно, что ты думаешь о художниках.

– Но послушай, что я могу о них думать? Я не из их мира.

– Как? Ты же сама художник.

– Да, но я впервые наблюдаю их так близко. Последние десять лет я провела дома в пижаме – сначала в декретах с детьми, потом за рисовальным столом, не поднимая головы от заказов. И вот спустя все эти годы я вылезла из пижамы – и посмотри на меня – сразу оказалась в Шанхае! Вот что об этом думать? «Так бывает», а что еще? Всю жизнь до этого момента я только подбира-а-алась к мечте про Настоящего Художника – который аж про целое Искусство, а не про горбатое ремесло... Нет, конечно, я знала, что современное искусство – это «что-то такое», сокрытое дымовой завесой элитарности. Но я думала – попаду в среду Настоящих Художников и разберусь с этим «сокрытым»! Я думала, резиденция – мой шанс...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.